

ლიტერატურა

გეოგრაფია

6

1975

# Литературная Грузия

Ежемесячный  
литературно-художественный  
и  
общественно-политический  
журнал



Орган Союза писателей Грузии

6

ИЮНЬ

19 Издательство ЦК КП Грузии 75





# «ლიტერატურული გრუზია»

ქართული  
ლიტერატურა

(რუსულ ენაზე)

ქოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული  
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უშრნალო

წელიწადი მე-19

№ 6

თბილისი, 1975 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Тенгиз БУАЧИДЗЕ,

Гиви ЖВАНИЯ,

Марк ЗЛАТКИН,

Исидор КОЗАЕВ,

Георгий ЛОМИДЗЕ,

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,

Владимир МАЧВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Гурам ХАРАИДЗЕ

(заместитель главного редактора),

Владимир ХОМУТОВ

(ответственный секретарь),

Эммануил ФЕЙГИН.

**Алеко ШЕНГЕЛИА**

Год издания

19-й

## АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ТБИЛИСИ, 380008, УЛ. ЛЕНИНА, 5

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора —

93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

## ОТДЕЛЫ:

Отдел прозы и очерка

(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) —

93-31-43

Отдел поэзии и искусства

(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики

(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) —

93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Технический редактор Макалатия Г. Н.

Корректор Галионджян Н. А.

© «Литературная Грузия», 1975 г.



# Содержание:

## ПОЭЗИЯ

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Огненный смерч над буровой в тайге. Сказанное вдали от Грузии. Перевод Ильи Дадашидзе . . . . .	5
ГИВИ АЛХАЗИШВИЛИ. Алазанская долина. Капля. «Деревья сбрасывают тени...». Перевод Владимира Шленского . . . . .	6

## ПРОЗА

СТАР ЧХЕИДЗЕ. Тени. Роман. Перевод Лили Баазовой . . . . .	8
НОДАР ДУМБАДЗЕ. Желание. Рассказ. Перевод Зураба Ахвледиани . . . . .	32
ГИВИ КАРБЕЛАШВИЛИ. Товарищ? Рассказ . . . . .	36
ЗУРАБ РЦХИЛАДЗЕ. Двойной гонорар. Последний дом. Рассказы. Перевод Бориса Пугачева . . . . .	49

## ОЧЕРК

ТЕНГИЗ ГАМКРЕЛИДЗЕ. Большая руда Маднеули . . . . .	56
---	----

## КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ИОСИФ ГРИНБЕРГ. Рядом, за горами... . . . .	61
ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ. Вторгаясь в день сегодняшней . . . . .	65

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

АМБЕРКИ ГАЧЕЧИЛАДЗЕ. Мост связующий . . . . .	78
---	----



## НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

ГРИГОЛ БРЕГАДЗЕ. Ленинским путем побед и свершений . . . . .

## К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШОЛОХОВА

ИРАКЛИИ АБАШИДЗЕ. Наш Шолохов . . . . . 84

## ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭСТЕТИКИ

ВЛАДИМИР ПИСКУНОВ. Эстетическая активность искусства . . . . . 87

## В МИРЕ КНИГ

ЛЕИЛА ЭРАДЗЕ. О дружбе давней, нерасторжимой . . . . . 92

## ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГРУЗИИ

БРАТСТВО ЛИТЕРАТУР, ТВОРЧЕСКОЕ ЕДИНЕНИЕ . . . . . 94

## ПАМЯТИ А. ШЕНГЕЛИА

АЛЕКО ШЕНГЕЛИА . . . . . 95

ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. О прозе поэта . . . . . 95









\* \* \*

Я знаю, что завидовать не след  
Их мирным дням в лучистом блеске славы.  
Их памяти незамутненный свет  
Не потревожит мой упрек неправый.

Да будет так!..

Но скорби не тая,  
Иных творцов с тоской неизгладимой  
Вдали от Картли вспоминаю я:  
— Художники земли моей родимой!

Когда б не лихолетье войн и смут,  
С какой любовью вы воспеть могли бы  
Благословенный сеятеля труд  
И вечных гор незыблемые глыбы.

И базилики росписью покрыв,  
Какого б вы исполнились горенья,  
Запечатляя сретенья порыв  
И чудотворный миг преображенья.

Но в годы потрясений и невзгод,  
Среди врагов, до Грузии охочих,  
В воителях нуждался наш народ  
Превыше, чем в художниках и зодчих.

Когда мутилось небо и орда  
Неотвратимой близилась судьбою,  
Ои, как в пучине Страшного суда,  
Спасенья не видал перед собою.

И осиянней не было венца  
Для мастера,

что, смерть презрев упрямо,  
Израженный, сражался до конца  
В притворе им расписанного храма.

\* \* \*

Сквозь слезы я взываю к их теням,  
Их крестный путь припомня на чужбине:  
— Какую песнь допеть не дали вам,  
Как оборвали жизнь на середине!

Но среди руин, зиявших без прикрас,  
В круговороте горя и смятенья  
Их гений лучезарный не погас,  
Не обескрылил в сумраке забвенья.

Мой отчий край — грузинская земля  
Уберегла от пагубы и тлена  
Творенья их.

О родина моя!  
Так будь же ты навек благословенна!

Перевод Ильи ДАДАШИДЗЕ

## Гиви АЛХАЗИШВИЛИ

### Алазанская долина

*Строителям оросительного канала*

Кровью предков земля здесь  
не раз орошалась,  
враг лозу вырубал в незапамятный  
год...  
Скоро всходы появятся возле канала,  
алазанские ветры помчатся вперед.

И сухая земля в пробудившейся рани  
вдруг увидит, как всюду цветы  
расцвели.  
Нежным шепотом волны седой  
Алазани  
оживят пепелища усталой земли.  
Алавердские фрески...

Ожившие взоры,  
словно голуби, выпорхнут вдруг  
из окна...

Поле битв отгремевших  
и эти просторы,  
верьте в то, что придет с Алазани  
волна...

В поле, словно роса, тают звезды  
ночные.

Ветер маки колышет,  
их свет заревой  
разгорается, вспыхнув.  
Цветы полевые  
вскинут головы к солнцу  
над ожившей землей...



Кровью предков земля здесь  
не раз орошалась,  
Над прожженной землей проносились  
века...  
Но зеленою песней помчится  
к каналу  
очень скоро живая большая река...

Пространству между тесных стен  
надежды маленькой достаточно,  
чтобы заполнить мир теплом,  
чтобы, глаза открывши нежные,  
смотрел с рассвета каждый дом  
на ожидания безбрежные...

## Капля

Ты губ касаешься, звеня,  
в движении легка, раскованна...  
Желанья выдают меня,  
как окна — маленькую комнату.

Туман растет. Не превозмочь  
желаний, не укрыть под маскою...  
И улицу укутав, ночь  
качает с материнской ласкою.

Сад груз плодов таит, как грусть.  
Слилось пространство с каждым  
деревцем.

Я за надежду так держусь,  
как капелька за ветку держится...

Надежда есть — доволен тем.  
Мир полов тайн: в нем вечно  
сказочно.

Деревья сбрасывают тени,  
как пряди сбившихся волос...  
Лежу на пашне.  
Вдоль полос  
взошедший хлеб ковром расстелен.

Зерно пульсирует, звеня.  
Спит на ветвях усталый ветер.  
И вишня сыплет с тихих веток  
туман вишневый на меня...

Как матовый цветок, луна  
взошла  
и бледными корнями  
к земле рванулась.  
И тенями,  
и трепетом душа полна...

И я прислушаюсь к земле,  
в ней корень вызревает где-то...  
Пульсирует моя планета,  
как сердце гулкое во мне...

\* \* \*

Перевод Владимира ШЛЕНСКОГО









От этой женщины обычно глаз не оторвешь, взгляды многих мужчин, молодых и старых, да и самих женщин, провожают ее. Она привыкла к этому и гордо держит голову, словно не видит и не догадывается, а если и догадывается, то все это ей нипочем. Вот и теперь она идет так же, как всегда, и другому она и не умеет, но только теперь никто не оборачивается и не глядит ей вслед. В такую пору на улице немногочленно, рабочий день закончен, но для часа развлечений рано, и люди еще не высыпали из своих домов. Впрочем, фонари уже зажигаются один за другим, но горят они бледно и тускло, и нет в них блеска, сверкания; горят они так, чтобы все казались на одно лицо и чтобы — упаси боже! — никто не выделялся своими достоинствами, дарованными природой.


Народу пока мало, да и свет блеклый, потому-то некому и видеть ее, вот она и идет одна, — нет, была бы одна, если б не ветер, он бежит за ней след в след, не отставая, и метет листву.

А утром и листьев не станет, сгребут их все до рассвета и выкинут вместе с мусором, — но это только на центральных улицах, зато в окрестностях их будет уйма, но это уже потом будет, — деревья ведь там еще только сажают. А здесь, хоть и облетают листья, все равно нет ощущения осени, не приходит оно, ибо красок — великое множество; даже лето тут и то не очень-то чувствуешь, — стены зеленые, желтые, и многих других разных цветов, только бы различить, — вот он зеленый, а вот и желтый, как признак весны или признак осени... Потому весна не бьет в глаза зеленью, а осень не сверкает золотом и медью, — только дома и пестреют обычной размалевкой, а поблекнут и выцветут, их перекрашивают, — стоит только чуть сбрызнуть. Вот тебе и ощущение времени...

Мало людей на улице, только слетают листья широкие и узкие. Слетают, слегка покружив, — протяни только руку и поймашь. Она протягивает руку и ловит лист за стебелек, подносит к лицу, трет им подбородок и идет дальше. А ветер не отстает, шуршит и шелестит ей вслед так, словно это он зажигает и гасит огни, «Пейте чай!», «Одышайте на побережье»... Обязательно на побережье, на набережной... Впрочем, удачная ли для этого там пора? Теперь ведь неприветливо даже и в центре города. Но она все равно стремится на набережную, — там и деревьев побольше, и ветру там вольней, да и листья пускай себе шуршат вовсю, как им вздумается. Вот только бы кофту ей... И она, отравленная горечью, вновь встряхивает головой, словно чтоб избавиться от докучливой мысли. Пусть ее! Пусть простудится, пусть все что угодно, пусть самое страшное, это ее не испугает, потому что она сама холодна, намного холодней, чем этот сырой вечер! Вот потрогайте-ка ее! Хотя кто же к ней прикоснется, кто посмеет? Уж не тот ли, что маячит впереди, словно тень... Она приметила его еще возле гостиницы «Тбилиси» и решила было, что это ее собственная тень. И только после поняла, что не тень то была, хотя и двигалась словно тень, двигалась и вела ее за собою. А неподалеку от набережной остановилась в нерешительности, как бы и ее, женщину, предостерегая, только безмолвно, не оборачиваясь, не подав ни малейшего знака. И действительно, вдруг взревели машины, съехались неожиданно, сразу, с шумом завертелись по кругу и растаяли во тьме; сбегались каждая со своей стороны и покатали каждая своей дорогой, но раньше сгрудились, смешались, сбились почти во что-то единое, чуть было не смяли ее, да хорошо — тень предупредила, словно отведя машины в иное русло, а потом пересекла перекресток и переступила через белую кромку круга...

А она? Нет, она не смогла пересечь черту, не посмела пойти вслед за тенью. Хотя до этого она и шла за ней шаг в шаг, оттого, верно, и показалась ей эта тень своею собственной. Теперь тень оторвалась от женщины, отделилась от нее, истончилась, а потом и вовсе исчезла. Женщина вздрогнула — тень казалась ей надеждой, опорой в ее одинокости; хотя машины нет-нет да и прощмыгивали мимо, но ведь это только раз так получилось, что они все слетелись вместе, а потом уж вразнобой и не часто появлялись... Совсем не было гуляющих или просто прохожих, да она и не хотела их. Тень, та была чем-то совсем иным для нее, иначе не устремилась бы она сюда, а вышла бы на большие улицы, ведь еще немного, и они станут шумными и многолюдными... Но она бежала от них, поскорее, подальше, и, только увидев пред собой эту большую тень, не стала противиться; наоборот, она хотела ее и все шла и шла за ней. Но та ушла, растаяла, впрочем, своя-то ведь оставалась рядом, однако и та казалась ей своей — свет фонарей то забрасывал ее вперед, то откидывал назад, и тогда она, эта большая тень, то вела женщину за собой, то давала ей пройти мимо, бросаясь ей под ноги и заставляя еще сильнее шелестеть и шуршать слетающие к ее ногам листья... И они все слетали, ветер легко их сносил, даже этот слабый ветер, — а вот летом и самый крепкий был бы им нипочем: только в эту пору было достаточно его слабого дыхания, легкого дуно-





вения, чтобы смести их в целые кучи. Вот ветер и срывает их, а тень шла по-над листьями, словно парила над ними, накрывала их — казалось, она хотела втоптать их, схоронить поглубже, — а потом сразу всплывала, отрывалась от них и устремлялась дальше... И вдруг невдалеке она прильнула к перилам, — на Куру ли поглядеть, или на тот берег. Кура, покоренная, усмирённая, показавшись незнакомой — расплескалась по отмелям, растекалась меж островков. Накатываясь на берега, она глухо ворчала под висячими балкончиками, вспенивалась у мельниц, разливалась вширь и стремительно неслась дальше, сверкая серебром... Неслась река, грозясь и ластясь к берегам, ластясь и грозясь. Видать, сил в ней вдоволь было, вот и грозилась она, показывала свой норов, напускала волны на Дидубийские и Ортачалские сады, захлестывала их водами своими, губила... Да что сады? Она и людей затыгивала в свои водовороты, а иной раз, случалось, какой-нибудь горемыка и сам отдавался на ее волю... Все переменялось вокруг, Кура уже не дивится ничему — привыкла, что ли? Привыкла и к асфальту, фонарям, к многоэтажным домам. Но, может, помнит она еще, как вздыбивались волны ее, как, взлетая, достигали нависших над ними балконов? Теперь дома отодвинулись, отделились балконы, и ей, укрошенной, уже не под силу до них доставать, да и доставать-то нечего, — высокие дома уже не признают балконов, от них осталось одно бледное, смутное воспоминание. Так стоит ли ей попусту расстрачивать силы, зная заведомо, что все равно до них уже не достать, — вот она и несется мимо, глухо рокоча...

Женщина, идущая по шуршащим листьям, не помнит, не знает старого пейзажа, а тень, прильнувшая к перилам, помнит, вспоминает, но не скорбит по минувшему, не оплакивает старый Тбилиси; нет, совсем другое мучает ее и заставляет грустить... Хотя, может, это и не так? Может, только задумалась тень, прислонившись к перилам, задумалась и оцепенела в неподвижности. Но вдруг встрепенулась, когда женщина приблизилась... Тень тоже никого не хочет и сразу уходит прочь, не поднимая головы, не оборачиваясь, будто эта тень тень и есть...

Но вот и женщина остановилась, застыла. Теперь тень та движется, а она сама и с места не трогается. Коли знала бы, что вспугнет, она бы и близко не подошла. Теперь она уже не приблизится к тени, а пойдет под кронами, станет держаться возле деревьев, чтобы ее больше не увидели. Ведь тень встрепенулась и вздрогнула, заметив ее, отшатнулась в страшном смятении, пошла прочь... и будет бродить, пока не умолкнет последняя живая душа, — пускай себе мчатся машины, ей до них нет дела, машины не потревожат ее, не испугают ее и люди: они теперь целиком во власти гонки, стали что одно целое с машинами, и все их помыслы только об одном, — скорей, скорей вперед!.. А погляди ей вслед, засмотришь на нее случайный прохожий, всколыхнутся, перемешаются ее мысли. Она, не оглянувшись, почувствует и быстро уйдет, устремив взгляд в небо... Будет бродить, пока не успокоятся мятущиеся мысли, зайдет под густую крону, а тень, заложив за спину руки, будет идти, идти. Нет-нет широкие ее плечи вздрогнут, послышится кашель, тихий, едва слышимый... И вот она уже потирает ладони, а потом снова идет и идет, заложив руки за спину. Теперь она виднеется четко, ясно, хотя и не должна так виднеться — это же всего-навсего тень, порождение мысли. Истинно сущее говорит или вопиет, а то, что движется безмолвно, всего только тень... Она движется, эта тень, мельтешит по кругу, заламывая руки, стискивает пальцы... А внизу шипит река, — она будто не течет, а стоит на месте, окаменела, но шипит, чуть слышно шипит, или, может быть, это ей так слышится, а тени, той не слышится, та все идет, ломая руки.

Когда-то здесь, а может, пониже, там, где были Орбелиановские владения, горьким размышлениям отдавалась другая тень, великая; молча сидела она, подперев руками голову. «Ложусь и слушаю, как не спеша течет Кура, журча на перекатах». Тогда Кура еще журчала, — мягкие травы устлали ее берега, пушистые, влекущие — те, что развеивают тоску.

«До слез люблю я эти уголки, — стеснала та тень, такая далекая и такая близкая. А эта... Непохоже, чтобы глаза ее тоже были полны слез, да и умеет ли тень плакать? Лишь когда вырвется мысль, обращенная в слово, — в слово ли, во вскрик, пусть даже в шепот, — вот тогда и увидишь, плачет ли она или трепещет от счастья, а пока она безмолвна и тиха, в смятении мечется, и кажется, слышен стук каблуков, чу, слышен... Нет, это что-то другое, нег у тени каблуков...

Внезапно внизу, у самого обрыва, заскрежетала машина, заскрежетала и остановилась. Какая — не видать, остановилась, и только. Не ударилась ни обо что машина, затормозила, — просто мысль какая-то пришла шоферу. Машина застыла в неподвижности, лишь только фонари горят да светятся тормозные





огоньки; потом этот свет чуточку отдаляется — похоже, шофер колеблется. Судя по машине, он и решается на что-то и не осмеливается, ибо машина то двинется рывком, то остановится, снова двинется и снова остановится. Вспыхивает огонек и тотчас же затухает, и снова загорается сигнал поворота, но шофер так и не решается, не осмеливается вернуться.

Зато здесь уже все решилось, — большая тень исчезла, — не скрежет машины ее напугал, а только ее намерение вернуться, и тень вздрогнула, всполошилась. Женщина на мгновение потеряла ее из виду, потому что заметила машину, и она за это время исчезла из глаз. Впрочем, куда ей было деваться? Невидимая, она, наверное, продолжала свое метание, свое кружение, здесь ведь безлюдно, только осенний ветер гуляет да падают поздние листья...

Ту, большую тень заманили осень и тишь, чего же искала эта? Искала? Нет, не искала — она только устремилась прочь из дома, устремилась, душная гневной обидой, чтобы не вернуться обратно, и вот она здесь, на набережной, куда не очень-то многих завлекали рекламы с запавшими буквами, даже в самую середину лета, да и ни в какое другое время. И вот она здесь, под ветром и осыпающимися над ней листьями... И хотя ветер совсем уже слаб, а скоро и вовсе стихнет, все равно он будет шуршать, — целая толща листьев покрыла землю, и ветер, рвезясь, побегит по ним. И за ее спиной слышится шелест, звучный, уверенный, прыткий, — не одна пара ног идет, словно это не шорох листьев, а какие-то другие звуки. Она не оглядывается, звуки приближаются, делаются громче, явственнее, и вот уже совсем близко зашуршало бойко и резво. Это парень с девушкой прошли мимо. Вот они идут, держась за руки, обыкновенная парочка — любовь, видать, еще в самом начале — это лоры и лэты, надежд и уверенней, потом на смену придет другая пора, а еще потом — кто знает, какая судьбина подстережет их, один бог ведает, что выпадет на их долю, но только, что бы ни было, все равно они уже не будут шагать так радостно и бойко. Настанет час других, а потом и еще других. А теперь это их час: и шуршит листва на набережной, шуршит ласкающе, и уходит радость, тает, исчезает.

Исчезает, тает — но все равно, это прекрасно, пусть и быстротечно. Она не испытывала подобного самозабвения, поэтому оно кажется ей особенно прекрасным, да и они не вспомнят потом о нем, а ей-то и вовсе не о чем вспоминать. Ей не приходилось идти вот так с кем-нибудь. Но отчего? Бегала ведь она вместе с девочками, и целый табун парней окружал их. Но только вот так, вдвоем, отдельно от других — никогда. То ведь было совсем другое, когда они бегали целой стайкой. А эта пара — совсем иное, неизведанное, таящее в себе изумительное блаженство, упительное, самозабвенное.

Обманутые надежды не должны бы оборвать эту радость. Хотя отчего ж? Но все это ей трудно понять, ей, с гневом и болью убежавшей из дому, да и той тени тоже трудно, тени, что застыла над перилами моста, словно в небе повисла — так она видится с набережной: хотя тени и знакомо все это, тени или мысли, тень которой она и есть, — она познала все это, она испила блаженные минуты, оплакала измену, она пела гимн во имя самой высокой радости, во имя восторга, но узнала она и разбитые надежды. Все она познала, но в ней еще осталась недопетой величественная песня, в ней, в той тени, что застыла на Верейском мосту и, казалось, вот-вот изольется в звуках гимна.

Застыв, как вкопанная, женщина глядит на ту большую тень, вся внимание и напряжение, словно ей уже слышится какой-то дивный чистый звук, — слышится ли ей или кажется? И если он несется издалека, то надо поторопиться, иначе навсегда пропадет тень и навек исчезнет, смольнет это неповторимое песнопение. И она бежит по подъему, чтобы скорее успеть на мост. Но вдруг поперек дороги останавливается машина, преграждает ей путь, и она уже не видит той тени... И те, что идут, почти не видны в тусклом свете фонарей, хотя шаги их уверенны и движения четки, и голоса их слышны, да и ведут они себя, как и надлежит облеченным во плоть.

И она все же последовала, поспешила... Возле цирка оборвется набережная, но, может, та тень перейдет на другую сторону, туда, где набережная продолжается? А может, обратно повернет? Но где же она, где она, ночная извечная тень? Внезапно явившись, она внезапно исчезла, и если еще и появится здесь или где-нибудь в другом месте, то так же внезапно, неожиданно... Нет, скорее не здесь. И женщина уже тщетно будет искать ее, тщетно ожидать. Но ведь еще не улеглось ее смятение, ей еще рано домой, да и вообще трудно сказать, вернется ли она туда? Но так или эдак, не бродить же ей бесконечно в этом странном забытьи! Вот уже и ночь опустилась, осенняя ночь, и хотя ветер стих, однако стало холодней. Откуда же ей, в ее легком платье без рукавов, с глубоким вырезом — откуда ей взять столько сил, чтобы противостоять ночи?



Идти до цирка еще порядочно. И кто знает, на кого она еще наткнется / Е-  
пути, что с ней еще может приключиться. Может, иные мысли вытеснят / е-  
муки, ее смятение. Так что лучше уж возвращаться, а там — будь что будет.

И право же, что могло с ней приключиться? И в действительности, приключи-  
лось, у самого бассейна: мимо стрелой пролетела машина, — их и до этого  
было достаточно, эта же пролетела быстрее всех и мгновенно затормозила, да  
так неожиданно, рывком, будто до этого машины близ нее и вовсе не тормо-  
зили; эта машина — надо было только уметь вот так затормозить! — так вне-  
запно окаянела, что, казалось, она больше никогда не сдвинется с места. Но  
задвигалась, чуть-чуть подалась назад и остановилась возле нее. Открылась  
дверца: — Садитесь, прошу... И она вроде бы ждала этого, потому что когда  
машина подалась назад, она уже почувствовала, что это случится. Хотя тут  
особой догадливости и не требовалось, но все же странно ей было, как это она  
сразу поняла, что сядет в машину, поняла и запротестовала, но не успела уго-  
ворить себя, не успела одолеть невольное побуждение... Мгновение — и все.  
Или для нее это стало всем? За этим мгновением началось другое. А ведь все  
могло быть иначе, по-иному. Перетерпела бы она, снесла бы страдания или нет,  
во всяком случае все было бы по-другому... Но она не успела подавить в себе это  
невольное желание, и случилось именно так, как случилось.

— Садитесь, прошу... — И она села... В машине было тепло, но она вздрог-  
нула, сидевший у руля поднял стекло с ее стороны и, потянувшись к окну, слу-  
чайно коснулся ее руки.

— Вы совсем озябли, — сказал он ей, сказал вкрадчиво, нерешительно. Но  
ответа не последовало, женщина не проронила и звука.

— Да, холодно, — снова произнес он, но она и на это не откликнулась...

— Зима на носу. А хорошая нынче осень, в Тбилиси осень вообще хоро-  
ша... — но и это повисло в пустоте.


## II

Он несколько раз спросил, куда ее отвезти, однако она продолжала молчать  
и даже головы к нему не повернула, а только пожала плечами, — вези, мол, куда  
хочешь. Машина, описав третий круг по площади, покатила к Варазисхеви и, как  
ошалелая, взлетела на подъем. Соломон Второй, имеретинский царь, тоже бежал  
этим путем в Ахалцих... Его пригласил на переговоры Тормасов. Зураб Церетели  
и Эвклиме Генатели уговорили царя, — поезжай, переговоры, на благо это пой-  
дет твоему царству. Насчет блага не знаю, хотя куда уж больше — Тормасов  
самолетно встретил в Гори августейшего гостя. Только он отстранил от царя его  
свиту и окружил его своими людьми. Так, будучи еще царем, тот прибыл в Тби-  
лиси уже пленником. Отсюда его ждал долгий путь в Россию, но царь бежал,  
предпочтя привычную тропинку незнакомому тракту. Пройдя Варазисхеви, он  
двинулся дальше, добрался до Ахалцихе и привел в боевую готовность Име-  
ретию. Нынешний Тбилиси далеко отстоял от этих мест, а Варазисхеви было  
в ту пору безлюдным пустырем, заросшим бурьяном. Царя не смогли догнать,  
преследователи запутались, не сумели пробраться ущельем, и так и не узнали,  
земля ли поглотила беглеца или небеса.

Эти же промчались по просторным мощеным улицам, не помышляя вовсе ни  
о какой Османской империи, а дальше, оставив за собою Цхети, очутились в  
«Бетани», ибо разве не весь ее вид словно говорил: куда угодно. А ему и было  
угодно в «Бетанию»...

Лица сидевшего за рулем она еще не видела, даже головы к нему не повер-  
нула, только голос его слышала, низкий, мужественный, то испытующий, то буд-  
то полный участия, хотя где-то за всем этим чувствовалась едва уловимая сме-  
шинка. Другая бы и не заметила, но ее трудно было провести. А может, это  
ей просто показалось? Но как бы то ни было голос слышался, и по голосу  
она догадывалась, каков он был, этот незнакомец, впервые повстречавшийся  
ей на пути, этот смельчак, который — надо же! — так вот с ходу и завез ее пря-  
мо в «Бетанию». Впрочем, отчего же, ведь он несколько раз спрашивал ее и  
востоквал ее молчание по-своему, он так ее понял, когда она повела плечом.  
И вот он спрашивает ее, — выбор за ней, — спрашивает осторожно, деликатно,  
— ресторан залит огнями, во дворе полно машин, и их машина стала тут  
же, — войти ли и ей в этот ряд, стать ли там или продолжить путь, а может,  
вернуться и снова направиться к городу? И по той же ли дороге, через Цхети  
ли или через Коджори? Слова вежливые, тон кроткий, смиренный, и только  
едва-едва, словно невидимую занозу, можно уловить в нем легкую насмешку. Он  
почти лег грудью на руль, вытянул шею, пытаясь взглянуть ей в глаза, — мо-  
жет, хоть глаза что-нибудь скажут, ведь он и слова не смог из нее вытянуть...





Конечно, по голосу она уже представила его себе — высокий, ладный, ослепительный, тело у него сильное, брови густые, глаза крупные, он гладко выбрит, щеки румяные, губы чувственные — такой не может скрыть желанья, и глаза его возбужденно горят. В другом, может, и сильнее говорит желание, но в этом оно явственнее, он не умеет скрывать и не будет скрывать его, оно так же заметно в нем, как и эта, едва уловимая насмешка, проскальзывающая в участливом тоне. Открылась дверца, он сошел, и машина осветилась, да и на дворе горели фонари, — таким он и оказался, каким она его себе представила. Он пригнулся, сунул голову внутрь машины и только попросил ее: я чего-нибудь выпью... Ну и пусть пьет, может, жажда его мучит, а может, и не жажда, и одним боржомом или лимонадом не обойдешься, — вина или коньяка душа требует, для встряски, возбуждения, для большей смелости? Да, что-то вроде этого он замыслил, добыча у него в руках, и он кружит возле нее, зангрявает с ней и ластится к ней, а вышить хочет для храбрости. Ну, а потом, как же ему потом вести машину по этим крутым ломаным дорогам? Дело его! Пускай ведет, как знает, только б не долго заставил себя ждать...

Еще одна машина с шумом вкатилась — она станет рядом, здесь есть еще местечко. С громким смехом из машины выходят несколько человек — они, кажется, уже подвыпили, уже успели где-то набраться, а теперь и здесь хотят, — гуляй, душа! — еще разок гульнуть; насытят свою плоть и снова сунутся в город, в зной и духоту — но нет, это не теперь, а летом, когда, обласканные горной прохладой, они спускаются в раскаленную котловину, спускаются нехотя, через не могу, оттягивая время и стараясь застрять в пути. Да, не теперь, это летом обычно бывает, но и теперь по инерции не расстанутся они с этой привычкой, а потом она ослабнет, и совсем прекратится стремительный бег машин и шум, заглохнет все окрест. А зимой и вовсе наступит безмолвие, до той поры, пока снова не повиснет над городом знойное марево...

Громко смеясь, они выходят из машины, уже заметив женщину, начинают снова вокруг, гомонят, перешептываются, хохочут.

Она опустила голову, и лишь по голосам различает и определяет, сколько их там, какие они из себя. Видать, не назойливые. Но прежде чем войти в ресторан, они еще разок оборачиваются напоследок, еще разок перешептываются, а потом смех их тает в общем гуле. Чудаки!.. Вот чудак! Ну что еще можно сказать о женщине больше того, что о ней сказано и пересказано бесчисленное множество раз? А что может быть смешного или интересного в бесчисленном повторении? Но что же поделаешь, мужчины выпили и не могут сообразить, что пора бы им домой. А может, им тоже не хочется домой? Ведь дом мужчине надоедает, и он, — это так обычно, — бежит куда глаза глядят, — разве что от унылого однообразия, чтобы заглушить тоску, грусть, хотя, кто знает, может, как раз женщине-то все скорей приедается, но только женщина не убегает, у нее ведь больше терпения, — а эта вот убежала... Ах! — вырывается у нее из груди, но она сидит по-прежнему, не поднимая головы. И не замечает никого из тех, кто проходит мимо. Но вот кто-то просовывает в окно голову, и она приходит в себя. Это он, тот самый, что сидел за рулем.

— Во дворе отдельные кабинеты, сейчас один освободился, посидим вдвоем, никто нам не помешает, не побеспокоит. — Это просьба, но в ней скрыто повеление: каждое слово таит в себе оба этих нюанса, а иногда и третий врывается, это когда проскальзывает насмешка. Теперь же он просит ее и велит ей одновременно, помогая словам невольной жестикуляцией.

Женщина выходит из машины, мужчина идет за ней, показывая дорогу, идет беспечно, суетливо. Но зато голос его окреп, стал уверенней, теперь речи более смелы, развязны, как если бы у него появились права на нее. Он уже не просит ее, а повелевает: — Нет, нет, не туда, вот сюда, входите, садитесь!..

А сам исчезает. Наверное, и там будет приказывать. Посетителей много. Пожалуйста, займитесь мною особо, и все лучшее — мне, — так он должен приказывать им, но зато должен и пообещать хорошенькое вознаграждение: кто же иначе станет с ним возиться?! Знает гость, что хозяин в лепешку расшибется, весь выложится, а уж постарается показать товар лицом. И все равно ему не избежать упреков, хотя бы оттого, что он оставил ее одну и даже не извинился!

И вдруг кто-то резко отдернул занавес, служивший дверью, — отдернул и тотчас же попросил прощения: со своим кабинетом спутал, — кабинеты ведь все одинаковые. А теперь послышался его голос, — он говорил с этим, перепутавшим, и заметно сердился. Наконец он вошел и рассыпался в извинениях за то, что оставил ее одну. Ага, дошло, наконец, он исправил и эту оплошность.

— Повар возится, — нервничает он. Выходит и тут же возвращается в сопровождении официанта, у которого поднос в руках прогибается от тяжести. Во рту у него горячая папироска, и маленький кабинет заполняется дымом. Он поводит глазами, находит пепельницу, тушит в ней папироску и снова



просит у нее прощения. Официант накрывает на стол и хочет уйти, он задерживает его, — там вырезка жарится, пригляди как следует!

Стол ломится от снеди, куда ж еще?!.. Но раз он заказал, значит, придется, а если для нее постарался, то что ж, пускай! Хотя много ли ей нужно? Ломтик чего-нибудь — и достаточно. На столе свежая рыба, она берет кусочек себе на тарелку и запивает лимонадом. Он подвигает ей рюмку: хороший коньяк «ОС» — «очень старый», он у них обычно припрятан, не всем подают. У него в руке рюмка, он смотрит на свою гостью, хочет что-то сказать, вероятно тост, но, по-видимому, не может найти первого слова. Ведь с этого первого слова и протянется нить, за которой последуют победа или поражение, среднего не дано — должно быть одно или другое, хотя второе, ясно, желательней, и для того, чтобы оно пришло, надо первое слово взвесить, примериться к нему с осторожностью. Раньше ему не приходилось взвешивать слова, он вообще презирал все эти впустую выстреливаемые фразы. И вот теперь он впервые взвешивает, и теперь это сложно и непривычно — он ведь даже не знает ту, которая сидит перед ним. Ему думается и то и другое, в голове мельтешат, прыгают унижительные для нее мысли. Оно и понятно, эта женщина, впервые встретившаяся ему на улице и по первому мановению его руки севшая к нему в машину, не заслуживает доброго мнения. Он думает и так, и эдак, но она здесь, перед ним, и привычные мысли путаются, а ничего нового в голову не идет.

Женщина слегка пригубила свою рюмку, глянула на радушного своего хозяина, и лицо ее просветлело. Но вдруг она поняла, что мучает его, и, снова помрачнев, опустила голову.

И вдруг мужчина словно нашел то, что искал, нашел неожиданно и воскликнул:

— Выпьем этот тост за наше знакомство, — сразу, внезапно нашелся он, а там пошло и пошло: знакомство, мол, это то и се, человек, мол, это целый мир и каждое знакомство с новым человеком — это для него открытие нового мира, — и многое другое в таком роде так и посыпалось; он осушил свою рюмку и, только переведав дух, понял, что промахнулся, на сердце у него захолонуло, — значит, все начнется не так, как хотелось бы, если и начнется. А ему так хотелось бы, чтобы все как следует наладилось, устроилось. Но как? Даже разговора и то он не смог наладить, чего же ждать от дела? Ведь то, что он сказал, было так банально — первый встречный сказал бы то же самое, лишь бы что-нибудь сказать. Ничего душевного у него не получилось.

Женщина не глядела на него, не прикасалась к рюмке, и никак невозможно было понять, по душе ли ей пришились его слова или были неприятны. Хотя что тут могло быть приятного или неприятного: то, что он сказал, она слышала тысячу раз и теперь в одно ухо впустила, в другое выпустила. Или, может быть, она неотвязно думала свою думу и даже не слышала его bestолковой тирады. А впрочем, ее молчание вполне его устраивало.

Она сидела не поднимая глаз, и он вдруг разразился каскадом восторга: когда вы перестали хмуриться и лицо ваше просветлело, я увидел перед собой красавицу, какой еще никогда не видел и даже не представлял.

В голосе его звучали искренние нотки. Но кто его знает, был ли он чистосердечный человек или отъявленный лицемер? Женщина подняла на него глаза, которые бы словно говорили: я, может, и рада бы тебе поверить, и слышать такое всегда приятно, но все это уже слышано-переслышано, да к тому же сейчас и не то настроение...

Мужчина насулился, вскипев негодованием: в конце-то концов, какого черта она о себе воображает, шаталась по набережной, и не подбери я ее, так и торчала бы там озябая, продрогшая, а теперь разве что птичьего молока ей недостает, я из кожи вон лезу, как ей угодить, она, видишь ли, и ласковым словом не удостоит...

В это время официант занес шашлык, и следя за ним взглядом, мужчина подумал: «Шашлыка не хватало на столе? Вот, прошу, и это на месте, угощайтесь!» Но официант не дал ему додумать, спросил через плечо: не пожелают ли еще чего-нибудь? Мужчина скривил губы: ничего, мол, не желаем, да и вообще катились бы вы оба к чертовой матери, и ты, и она...

Женщина пригубила коньяк, взглянула на него испытующе, оставив рюмку в сторону, взяла в руку бокал и протянула перед собой, — налейте, мол, мне вина, — не глазами, а рукой дала знать той самой, в которой держала бокал. Рука ее была нежна, а все движения грациозны. Нет, нельзя было послать к чертовой матери такую женщину, — налив ей вина, он счел за лучшее немного помолчать, к тому же и повод нашелся: надо было снять ароматно дымящееся мясо с вертелов. Он вынул из кармана остро отточенный нож и срезал мясо ломтиками. Потом поставил перед ней блюдо, без слов предложив отведать. Женщина взяла кусочек, чуть заметно дрогнув уголком рта, — может, ей понравилось его мастерство, — но как это выражение лица красило ее! Нет,





воистину, трех было посылать к черту такую женщину. Он выпил еще коньяка, выпил безмолвно, закусив кусочком мяса, но кусочка ему оказалось мало, он вошел во вкус и испробовал другие блюда. На вид он был дожий молодец, да и аппетит у него был что надо. А после он снова и снова пил. Женщина все еще теребила тот же кусочек, но бокал свой выпила до дна. Мужчина подливал ей, наливал и себе, но взгляд его все чаще останавливался на бугры коньяка. И он в который раз принимался за него, готовясь начать с ней разговор. Но если такую женщину не пошлешь к чертям, то и взять ее, что и говорить, не так-то просто, — здесь нужна атака из убедительных, пылких, горячих слов, нужен штурм быстрый, стремительный, головокружительный, такой, чтоб она и опомниться не успела, и только потом уже, в конце, когда все будет позади, пусть себе опомнится и изумится: — Боже, что же это со мной творится! Да, только такой штурм и нужен! Только не дрогнуть! Первое поражение еще ничего не означает, оно даже к добру, но только чтоб за первой неудачей не последовала вторая, чтоб не потянулась за ней цепь неудач. Так нечего много думать, ведь слово всего лишь слово! Тут главное — огонь, страсть, надо разжечь пламя, подкладывая в него побольше сухих поленьев, и тогда каждое слово сослужит службу. Надо говорить о чем попало — о футболе, баскетболе, волейболе, — ведь он в этом великий знаток!.. А как много всего произошло, начиная с весны, — розыгрыши на первенство, на кубки — всесоюзный, европейский, соревнования, судьи, комментаторы, журналисты, — как много всего, о чем можно говорить, пороку у него на это хватит с избытком, вот он сейчас разговорится и... вот он уже смеется, входит в раж, сердится, стихает, снова смеется и снова хмурится, и все это вместе со словами, вслед за словами. Он и сам тянется за своими словами со всем своим пылом, задором и горячностью, но только та, ради которой начал этот поход, безучастна ко всему, как и прежде; она словно неприступная крепость, хотя иногда и взглядывает на него, но взглядывает спокойно, с полнейшим самообладанием, точно так, как раньше поглядывали с крепостных вышек часовые, — откуда, мол, это опасность подбирается? — хотя бы часовые с вышек Нарикалы, когда с персидской стороны не заметно было и шевеления. Но мужчина не верит ей: он сам весь пылает, разве можно рядом с ним не распалиться, — ведь пламя всегда перекидывается и воспламеняет.

— Вы великолепно сложены, наверное, вы спортсменна, — говорит он ей. Женщина смотрит на него, делая губами едва заметное движение, — что-то похуже на улыбку. Она и не думает его переубеждать, но одна ее улыбка говорит об очень многом — с бровей начал, к телу перешел, перешел сразу, внезапно... Есть одна славная народная песенка «Себро, Себро!» — в ней поется о красоте лба, потом бровей, а там одно за другим идут ресницы, глаза, нос, губы, подбородок, шея, — и так все дальше и дальше, но только осторожно, исподволь, вкрадливо, да так, что после этого устоять уже невозможно. А он забыл об осторожности, осмелел чересчур, с бровей ее начал и тут же на тело перешагнул, жадно смотрит на нее помутневшими глазами, а когда говорит, так открывает рот, словно вот-вот собирается ее проглотить; он не сводит с нее взора и, наверное, уже и раздел ее, и так совсем легко одетую, в своих мыслях — швырнул платье в одну сторону, рубашку в другую, все остальное смял и расшвырял, и медит, медлит, ибо теперь наслаждается, красотой ее наслаждается, а потом закроет глаза, еще шире откроет рот и... раз! Исчезнет женщина, словно ее и вовсе не было.

Нет, не верится ему в отказ, — вы сложены, как истая спортсменка, — уверяет он ее, — а если у вас другая специальность, то жаль, такая фигура пропадает...

Женщина берет блюдо с рыбой и предлагает ему молча, без слов, но и это уже много для такой женщины, — так, во всяком случае, он считает и, преисполнившись бодрости, ни на минуту не замолкает, но все-таки, взяв кусок рыбы, моментально поглощает его. И надо же... косточка застряла в горле, он давится, прокашливается. И поделом же, он наказан за свою неосторожность. Женщина смеется, беззлобно и едва слышно, у нее только чаще вздымается грудь. Ей будто бы удалось отомстить, она сумела остроумно ответить. Заладил — фигура да фигура, вот тебе и фигура, только не подавись! Но мужчине не догадаться, ему теперь не до этого, он выбегает во двор и где-то там, задыхаясь, откашливается. Немного погодя он возвращается с покрасневшими глазами, и трудно определить, смущен ли он. С нарочитой беспечностью он тотчас же продолжает прерванную речь так, как если бы ровно ничего и не произошло. «Да», — продолжает он и берется за бутылку коньяка, но женская рука тоже касается бутылки — не надо, достаточно — и в это время руки их соприкасаются, — прохладная ее рука касается его теплой — нет, уже горячей руки; но мужчина поначалу не замечает этого — ему нужен коньяк, а в этой бутылке уже почти ничего не осталось. Он зовет официанта и велит ему принести другую бутылку.



1935  
1935

Но и другой дотрагивается женская рука, и снова прохладная рука касается горячей и горячая накрывает ее, — играя горячими пальцами, словно прощай! оставь! — и в то же время он совсем не хочет, чтоб она отняла свою невыразимо приятно это и ободряюще, ибо это знак уже несравненно большей, гораздо большей уступки...

Затрепетали его пальцы, ложится на холодную кисть и трется об нее горячая ладонь, ласкает и гладит ее. Над горячей рукой блестят затуманенные, подернутые поволокой еле сдерживаемой страсти глаза, вздрагивают губы, терзаемые пламенем той же страсти, ошалевшее сердце громко стучит, о разуме уж и говорить нечего! До этого он полусидел, теперь он поднялся, и горячая его рука поползла по холодной, вначале медленно, до локтя медленно и осторожно, а потом вдруг сделала рывок и обвила плечи, потом и вторая рука его обняла ее, и вот уже его сильные руки стиснули ее плечи, пылающие губы его нашли ее холодные губы, холодные и вялые, нашли и прильнули к ним...

Его обожженные страстью горячие губы ничего не почувствовали; на мгновение он оторвался от нее, наверное, чтобы перевести дух или набраться побольше смелости, но холод, исходивший от нее, словно заморозил его губы, заставил их сомкнуться. Он пристально посмотрел на нее. Женщина не сопротивлялась, она не собиралась убежать, но, судя по всему, и не думала идти на уступки; она не чувствовала себя ни оскорбленной, ни побежденной; она была какой-то непроницаемой и холодно бесчувственной, словно ничего не чувствовала, словно и холодной ей не было холодно.

Мужчина было опешил, однако снова потянулся к ней, но, едва дотронувшись до нее, тотчас же отступил.

Женщина слегка смочила пальцы в вине и провела ими по губам, влажным от его поцелуев. Мужчина, приподняв ее лицо за подбородок, заглянул ей в глаза, и из глаз ее, как и от всего ее существа, тоже повеяло холодом, ледяным, пронизывающим... Тогда он потянулся к коньячной бутылке, и руки его снова коснулась ее холодная рука. Мужчина потянул к себе бутылку, грубо вырвал ее и припал прямо к горлышку, так, словно он попал в Арктику и вот-вот должен замерзнуть, и только одна эта бутылка его может спасти... Пошатнувшись, он кое-как удержался на ногах и, не зная, куда девать силы, накинудся вдруг на занавес, смял, скрутил его и закинул наверх. Нашел, наконец, на чем излить свою ярость, а может, ему воздуха не хватало, но как бы там ни было, он зашвырнул вверх занавес и уперся ногой о порог. Постояв так немного, он вдруг совсем сдернул занавес, завернулся в него и, снова припав к бутылке, осушил до дна, швырнул ее в угол. Захотав горьким смехом, он выдал из себя всю ту унизительную насмешку, что, словно застрявшая косточка, хрипом отдавалась в его тоне. Нет, смех его не предвещал ничего доброго! Потянувшись к женщине, он бесцеремонно и грубо схватил ее, как кусок льдины, который собирался разбить, разорубить на кусочки, растереть в порошок, растопить. Внезапно расвирепевший, он вдруг сделался опасен — то ли это алкоголь так в нем буйствовал, то ли просто решил он нагнать на нее страху? Метод это был, что ли, покорить ее? Но не вышло то, на что он рассчитывал. Хотя жертва теперь больше не противилась ему, она отдалась его объятиям, вперив в него острый холодный взгляд... Остыли его горячие руки, ослабли, сникли, упали плетями. Слово готовая к этому, она живо высвободилась, грациозным движением ускользнув от него, выпрямилась, одним движением руки поправив на себе смятое платье, и спокойно, как ни в чем не бывало, вышла за порог. Казалось, даже и случись что, все равно это не смогло бы смутить ее душу.

Усевшись в угол на заднем сиденье машины, она стала ждать его... Ждать пришлось долго, — может, он сцепился с кем-нибудь, а может, оставшись там, хлестал в одиночку коньяк, да и мало ли что могло произойти: таково свойство спиртного, заставляющего порой человека забыть о своем самом близком; а что ему она, первая встречная случайная знакомая? Да, все что угодно можно было подумать — ведь когда ждешь, мало ли всякой всячины лезет в голову!.. Наконец он явился, да и куда было бы ему деваться, но пришел он вдребезги пьяный, наверное, еще добавив коньяку, а может, на свежем воздухе его так развезло, что он уже и на ногах не держался. А может, забыл, что она была с ним, ведь он даже не обернулся, ни слова ей не сказал, сел за руль, и машина тронулась. Да, тронулась и с большим трудом протиснулась меж запрудивших двор других машин, понемногу выбралась. А уже на дороге руль перестал слушаться хозяина, и когда перед самым носом машины пролетел грузовик, оттуда понеслась отборная матерная ругань. Не столько орал шофер, как стоявшие в кузове. А он не обратил внимания, а может, ничего и не слышал; рванул руль, и машина полетела... Взвилась и полетела по Куджорской дороге; она летела опрометью, кренясь, скрежетала на поворотах, готовая, казалось, вот-вот рухнуть в тартарары. Она не уступала дороги ни од-



ной встречной машине, не тушила фар. Со всех сторон кричали и орали, вдогонку им то и дело неслась многоэтажная брань. Но машина летела, летела, точно не касаясь земли, точно шофера обожгли чем-то: словом, он вел машину так, как и мог ее вести только опившийся до одури. Но он-то пьян был, а как же она? А она даже не вздрагивала, не пугалась и не вскрикивала, ничем не выдавала своего присутствия, словно была существом не из плоти и крови. В сказках такое бывает — бесплотные не ведают страха. Но как же это она, не фея, молча неслась бок о бок с пьяным безумцем по крутым, изломанным поворотам? А так, что если мужчина ничего не соображал, то ей было все глубоко безразлично, только и всего. И лишь одна встречная машина заупрямилась, обдала их сильным светом и заставила отступить. Правда, ничего страшного не произошло, они только съехали в канаву и там застряли. Грузовик уехал под яростную брань шофера. Спутник женщины долго провозился, но так и не смог вывести машину. Наконец нашлись люди, помогли, вытащили машину, поставили ее на дорогу, благословили их в путь.

Женщина вышла из машины, кивком головы поблагодарила спасителей, коснулась его своими холодными пальцами, отодвинула в сторону безо всяких, впрочем, усилий, отодвинула и села за руль сама.

Мужчина съежился, безмолвно сжался в комок и больше не шевельнулся: он спит, обмяк, замер... Женщина умело повела машину, она внимательно следила за поворотами, была осторожна на спусках. Наконец она остановила машину и оставила ее вместе с владельцем у городского Совета.


### III

В подъезде на нее снова налетел подстерегавший ее ветер, она снова вздрогнула и снова в сознании ее мелькнуло, что надо было бы захватить теплую кофту, мелькнуло внезапно и безотчетно, но как бы то ни было это уже походило на заботу, а озабоченный и утопающий — это не одно и то же. Она не переводя дыхания взбежала по лестнице, почти коснулась пальцем звонка, но тотчас же отдернула руку, отдернула, еще не нажав на кнопку, и легонько постучалась одним пальцем. Дверь отворилась мгновенно, словно и не надо было стучать или палец ее был волшебный: не успела прикоснуться — отверзлись замки; или как если бы дверь была автоматического устройства и открылась сама, как только тень подступила к ней, — впрочем, это не удивительно в нашу эпоху автоматов, но так именно и произошло, а вернее всего было думать, что кто-то стоял за дверью и поджидал ее. И на самом деле, ее подкараулила девочка лет четырнадцати-пятнадцати, хилая, невзрачная и такая щупленькая, что ей никто не дал бы ее лет. Открыв дверь, девочка тотчас же приложила к губам палец, — тихо, мол, ни звука, и бесшумно подбежала на цыпочках к последней комнате, знаком поманив ее туда. Этери последовала за ней, — не оттого, что послушалась ее или опасалась чего-нибудь, нет, ей просто было совершенно безразлично, вот она и пошла за девочкой в детскую. Было уже поздно, и девочка давно уже должна была быть в постели. Но Этери ничего не сказала, даже взглядом не выдав неудовольствия, — ни взглядом, ни единой черточкой лица, — опустила в небольшое кресло, стоявшее прямо подле дверей, и закрыла руками свое застывшее в неподвижности лицо.

— Отец спрашивал вас, — шепотом начала девочка. — Я сказала, что вы спите у меня, и он страшно разволновался: подумать, говорит, только, и она еще может спать!.. Я пожалела, что так сказала, но было уже поздно; сболтнула первое, что пришло в голову, и пожалела. А потом все думала, как бы это было сказать получше... Да так ничего хорошего и не придумала. Наверное, лучше всего было сказать правду... для меня лучше, чтоб не лгать, а вот для вас? Так все и ломала голову в ожидании вас, боялась, как бы он снова про вас не спросил или не зашел бы сюда, а вы как раз и подошли...

Девочка говорила, запинаясь, с трудом преодолевая волнение. Видно было, что она очень обрадована, но страх ее все еще не прошел: она оставалась стоять подле двери, как стояла, верно, и до сих пор, вслушиваясь, не идет ли отец. А меж тем бояться уже было нечего — она ведь сказала отцу, что мачеха спит у нее, а та уже вернулась и в самом деле сидит теперь у нее в кресле, закрыв лицо руками, и то ли спит, то ли ничего не слышит, иначе она успокоила бы девочку, поделившись с ней своими страхами. Должно быть! Или она и не собиралась ничего скрывать и не ждала от нее никакой помощи? Да, так. Наверное, и так. Она не любит девочку и отвергает ее участие. Да ей, верно, и не хотелось вовсе входить тайком. Но чего же ей тогда надо было? Только одного — поздно вернуться и лицом к лицу смело предстать перед мужем?.. Да, очевидно, именно так. Неужели же Лало все еще так мала, что не может постигнуть дела





взрослых? Но, как бы то ни было, она верит, что поступила хорошо — она ведь да, солгала, но солгала во имя добра, ради нее, ради своей второй матери, пусть она обманула отца, но разве для той это было не лучше? Отец, конечно, рассердился: «подумать только, и она еще может спать!» Но ведь узнай он, что ее и вовсе нет дома, разве он тогда не разгневался бы по-настоящему? Что бы там ни говорили, все равно она поступила правильно, хотя мачеха никогда не оценит этого, не оценит да и виду не подаст. Лишь бы отец остыл; из его комнаты долетают какие-то звуки. Девочка хочет выйти, прислушаться, но ей не дают.

— Сядь! — слышит она.

Женщина не отняла рук от лица, не повернула головы в ее сторону, откуда же она узнала, что глаза и уши девочки прикованы к той комнате, или если не узнала, то почувствовала? Но тогда она должна была почувствовать и то, что девочка не любит, когда ей приказывают, не любит, и это злит ее. Скажите пожалуйста: «Сядь!» Нет, не так, по-другому должна была она сказать, — что это за «Сядь!», «Уйди!», «Ешь!», «Занимайся!», «Одевайся!», «Спи!». Нет, не так надо говорить. Ведь мачеха и без того не мила девочке, а теперь она совсем возненавидит ее. А если так пойдет и дальше, девочка не станет стесняться и в открытую ей об этом скажет. Посмотрим, как ей это понравится! И девочка уже не в первый и не в последний раз грозит так в душе, но когда еще она исполнит свою угрозу? А может, и вовсе никогда не исполнит? Что-то сковывает девочку, что-то пленяет ее в этой женщине, пришедшей в их дом, чтобы стать ей матерью. Тихо и спокойно, ничему не удивляясь, вошла она к ним, холодная и высокомерная, а девочка, еще и слыхом не слышав о ней, уже пылала к ней ненавистью; еще не видя и не зная ее, она уже ненавидела, люто ненавидела ту, которая должна была заменить ей мать. И в ненависти своей она думала, с какой яростью оттолкнет она протянутые к ней руки, как отвернется от губ, готовых поцеловать ее, как грубо оборвет обращенные к ней нежные, ласковые слова, — так она думала и старалась стать дерзкой и невыносимой, заглушить, убить в себе даже простую вежливость, затупить все добрые чувства, старалась, насилуя самое себя. Но зря, оказывается, она насилувала себя, — прищелица не ласкала ее, не баловала, не протягивала к ней рук и даже не помышляла целовать ее, но вместе с тем она и не была с ней сурова, не травила ее и не обижала, ни в чем ей не отказывала; она была доброй со всеми и, в особенности, с падчерицей и не давала ей никакого повода для обид.

Кто знает, притворялась ли она или по самой своей природе была такой, но только эта беденькая, похожая на сморчок девочка никак не находила, к чему бы ей придаться, вот она и прищелилась к случаю — разве, мол, обязательно было говорить таким повелительным тоном это свое «Сядь!»? Да, действительно, может быть, как-то иначе надо было это сказать. И в самом деле сказала: «Ты бы присела!». Сказала, все так же не отнимая рук от лица, все тем же голосом и так же бесстрастно, но все-таки по-другому; кто знает, что там у нее сломилось или расслабло, в этой ее стойкости?

Девочке это было приятно, и она уже решила, что та чувствует себя по отношению к ней обязанной, — наверное, за то, что она постаралась отвлечь от нее гнев мужа, — и выражает ей этим свою благодарность, и теперь, видимо, захочет посвятить ее в свои дела. Да, это была бы первая победа за столько времени! И девочку это очень порадовало, хотя ей и с трудом верилось в то, что она сумела завоевать сердце мачехи, этой непонятной для нее, гордой и скупой на ласку женщины. Девочку раздирали самые противоречивые чувства: в страстном желании завладеть сердцем этой женщины она и хотела ей верить, и продолжала ненавидеть ее, а ненавидя, тем сильнее жаждала покорить. Все эти рассуждения о ее неприязни, о ее ненависти к мачехе, о том, что та ей не любя, — все это было слишком сложно и запутанно! Чем дальше, тем все большей ненавистью проникалась она к этой женщине, томимая, вместе с тем, неодолимой потребностью по-настоящему сблизиться с нею, войти с ней в настоящую дружбу, но только не ту, что бывает между матерью и дочерью или хотя бы между товарищами, а в сговор, в сообщничество, что ли, если хотите. Внутреннее чутье подсказывало ей: между мачехой и твоим отцом не все ладно, и это же чутье подстрекало ее, подхлестывало стать между ними, втесаться в самую сердцевину их разногласий. Здесь была немалая доля и детского любопытства, и упрямства подростка, и какого-то злорадного удовлетворения, скорее сочувствия к мачехе, именно к мачехе; но только эти нотки злорадства тщательно заглушались, и на поверхность выплывали более всего детское любопытство, упрямство входящего в зрелость подростка и неодолимая тяга к сопричастности.

— Ты все стоишь! — произносит Этери, отнимая от лица руки, но все еще не открывая глаз, и откидывает назад голову.

— Я прислушиваюсь...



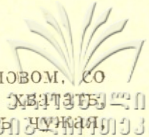


- К чему?
- Может, ему что-нибудь понадобится...
- А что ему может понадобится?
- Не знаю... Он все никак не успокоится.

Девочка знала, что на этом все и оборвется — и так уже достаточно было сказано; но какой-то сдвиг уже был, и она, ей казалось, теперь близка к сути событий. И любопытство разгорелось в ней еще сильнее, оно жгло ее, оно так и лезло из всех ее пор, а перед этим поблек, стухнулся этот первый успех, поблек мигом, но она уже научилась владеть собой, стала осторожной и сумела не показать своего торжества. Ведь она и ненависти своей не давала почувствовать этой женщине. Когда они бывали вместе, ненависть куда-то исчезала, она пленялась, восторгалась ею, слушалась ее и подчинялась ей, и только оставшись одна, начинала негодовать, злиться на себя за свою сговорчивость и покорность. Подружки, бывавшие у нее, не скрывали своего восхищения ее мачехой и шумно, наперебой превозносили ее красоту. И девочка непритворно радовалась и искренне гордилась своей мачехой, но стоило только девочке остаться одной, как ее начинала душить злоба, злоба, доводившая до бешенства, и она горько плакала от одной только мысли, что сама она никогда не будет так хороша собой, ведь она это отлично знала, была совершенно уверена...

Все их знакомые женщины и родственницы без стеснения говорили девочке, что, будь ей на роду написано счастье, она бы родилась от этой женщины, но она-то лицом вылитая мать. При них, при взрослых, она и вправду всем сердцем желала быть ее дочерью, но стоило только ей остаться наедине с собой, и ее вновь захлестывала дикая злоба, от которой все ее тело прохватывало судорожная дрожь. Как же ей было не возненавидеть эту женщину, дочерью которой она могла бы быть, «будь ей на роду написано счастье»! Но, едва оказавшись с ней один на один, она тотчас же подпадала под ее очарование и, словно заколдованная, покорялась ее воле... Так и росла она, закатая, как в тиски, между этими двумя чувствами. А в этот вечер она как-то вдруг сразу стала старше на несколько лет: очутилась между отцом и мачехой и ухватилась руками за вожжи их разногласий, — всего лишь ухватилась, ибо только чутьем она поняла, что могла нарушить согласие между мужем и женою, — еще не совсем ясно, но все же поняла, к чему тут может привести ее вмешательство, что из этого получится и что вообще в ее силах. А пока лишь одно — то ли случай, то ли ее небольшая ложь бросила ее в гущу столкновений между взрослыми, это пришлось ей по душе, и она решила удержаться в этой гуще, угнездиться в ней навсегда... И вот она стоит у порога — открыла дверь и прислушивается, затихнув в ожидании: чу! что это слышится из отцовской комнаты? Он спит там и мечется, и опрокидывает что-то из вещей. Слышится грохот и звон разбитого стекла; слышно, как он грохает кулаком по столу, издав нечто похожее на звериный рык. Да и что в этом удивительного? Ведь ожесточенный гневом человек недалеко ушел от животного! Уж на это-то у девочки хватает соображения, такое она уже видывала не только у себя, но и у других. Да, все это она видывала. И хоть бывало это не так часто, но и этого оказалось достаточно, чтоб она научилась разбираться кое в чем и анализировать. Но теперь для нее не столь уж важно, что дальше сделает отец — зарычит он или взвост волком, главное, оставаться посредине, между ними, и чтоб ей сказали что-то, но не в прежнем надменном тоне, а так, как говорят обычно с ровней. Да, она желает этого и продолжает стоять на своем посту, ибо так было и раньше: впереди нее никто не стоял перед отцом, да никто и не мог стать, даже мать, и то не могла, вот и стояла она между отцом и матерью, но пришла другая женщина — тихая, спокойная, сдержанная, и девочка отступила, дочь отступила, отдалилась от родного отца; для нее у него уже не хватало ни времени, ни ласки, ни нежности, рядом с ним теперь была красивая женщина, целиком забравшая всю его ласку, все тепло, весь восторг, — ей нужно было все, весь он, целиком. Правда, отцовская любовь — это нечто иное, но ведь и ласка, и тепло, и радость, и восторг не могут быть неисчерпаемы, и если кто-то впитывает все это в себя до последней капли, без остатка, то для другого уже ничего не остается. И хотя отцовская любовь это отцовская любовь, а все же красота, оказывается, сродни колдовству, она заставляет выбирать и между родными детьми. Впрочем, родители никогда в этом не признаются — что зы, помилуйте, ребенок есть ребенок, и какой палец ни отрезать, все равно больно, только зачем же резать, когда и среди здоровых, при всем старании не дать этого почувствовать, выделяют тот, что лучше остальных. Только мы не говорим об этом. И вот хоть отцовская любовь — это нечто совсем особое, все равно девочка лишилась привычного тепла и привычной ласки. Да, так-то, и ни в чем большем она не потеряла — ее теперь даже лучше одевали, чем прежде, а кормили — так и говорить не приходится, и по курортам она вдоволь





наездила, и на всякие городские развлечения насмотрелась, словом, со всем этим стало намного лучше, только вот разве тепла ей стало не хватать? Отцовского тепла, отцовской ласки, потому что между ними появилась другая, появилась прелестная женщина, и девочка ее возненавидела... Но теперь уже она не испытывает к ней больше этого чувства ненависти, ибо она заняла свое место; из отцовской комнаты не слышно больше ни шороха, и девочка, даже не спрашивая позволения, идет взглянуть, как там отец. Идет и тут же возвращается резво, вприпрыжку, каким-то очень уверенным движением откидывает покрывало со своей кровати и вытягивает из-под него одеяло. Мачеха сидит теперь по-другому, руки она уже и раньше отняла от лица, а сейчас и глаза открыла, поглубже села в кресло, закинула ногу на ногу.

— Отнеси ему его одеяло, — говорит она спокойно, сдержанно и непреклонно, не спрашивая даже, для чего девочке понадобилось одеяло: она знает, что он прилег на тахту и уснул. А девочка, вовсе и не подумав, прибежала сюда, но если бы она и подумала, то все равно так бы и сделала, сделала бы для того, чтобы и в дальнейшем упрочить установившееся равновесие, закрепить свою независимость. Только вот не вышло то, чего она добивалась: когда она услышала эти размеренные слова, похожие на лаконичный приказ, руки ее выпустили одеяло, и оно упало. Она послушно вышла из комнаты исполнять приказание. Но сразу же после того, как она прикрыла отца его одеялом, в ней вдруг все взбунтовалось и снова захлестнуло ее желание чувствовать себя взрослой, обуюла и потребность в ласке, и зависть к красоте, и вновь в ней проснулась ненависть к мачехе. Мачеха опять взяла неверный тон, и этого оказалось достаточно, чтоб пелена ненависти снова застлала девочке глаза. Ах, почему это сама девочка не догадалась сделать так, чтоб ей не пришлось выслушивать мачехиных приказов? И вот теперь в ней снова говорит одна только ненависть. В смятении она присела на краешек отцовской тахты и, снедаемая ненавистью и злобой, никак не могла совладать с собой, разобраться в себе. Да и где ей было в себе разобраться, когда многие и постарше нее не сразу в состоянии во всем разобраться, понять как следует что к чему, понять себя и друг друга.

Ведь если бы все постарались понять друг друга, прийти к согласию, то несогласий и вовсе бы не было. А девочке теперь только оставалось сохранить спокойствие и совсем немного выдержки, чуть-чуть... Но именно этого самого «чуть-чуть» и недостает обычно, и это-то и становится виной того, что за его нехваткой наступает большая беда. И вот она, эта большая беда, пришла к девочке, — в сердце ее поселилась неукротимая, неистребимая ненависть, — и не разобравшись еще толком в жизни, она уже научилась ненавидеть, а научившись, возненавидела свою мачеху...

Ах, если б можно было не ходить туда, к ней, чтобы ярость не слепила глаз. Лучше дожидаться, пока проснется отец, и сказать ему, что она солгала... Отец поймет и простит, — я сам виноват в этом, верно, подумает он и тотчас же простит. Ну конечно же, он поймет, что сам виноват в ее лжи. Отец ей поверит, он во всем разберется и приласкает свою дочку, и она притихнет на отцовской груди, а та... пусть остается где угодно, и чем дальше, тем лучше, раз она встала на пути между отцом и дочерью. Только бы отец проснулся. Он проснется и спросит: «Это ты, дочка?» Только бы он проснулся, а там она знает, как ей быть, — она тотчас же бросится к нему на грудь и со слезами на глазах признается перед ним во всем. «Прости, папа, я солгала тебе», — скажет она, только бы он поскорее проснулся, потому что рыдания уже клубком подступают к ее горлу. Но что это за сон напал на него? Почему же он не просыпается? Ведь горлись он вот в эту самую минуту, сколько бы изменилось! Ну, скорей же... скорей!..

Девочка уже не в состоянии сдерживать слез, вот-вот из груди ее вырвутся рыдания. Лучше уж ей уйти, убежать отсюда, броситься на свою постель, зарывать голову в подушку и вдоволь наплакаться. Ну, а коли это лучше, то она и выбегает... Но она никак не могла себе представить, что мачеха все еще у нее, и она сразу пугается своих слез, и торопливо утирает пальцами глаза, утирает и успевает удивиться: пальцы у нее совсем не увлажнились — слезы на глазах внезапно высохли и в них застыло одно только удивление: «Неужели ты все еще здесь?»

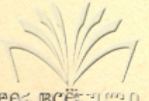
— Я ждала тебя...

Гм... в душе она читает, что ли! И слова не даст сказать. Что бы должно было означать это «я ждала тебя», сказанное так требовательно, с упреком и угрозой...

— Садись, я скажу тебе.

Девочке хочется упасть на стул там же, где она стоит, у порога, только б остаться посередине, но тут не на что сесть, стул в другом конце комнаты, и ей волей-неволей приходится пройти туда, а мачеха вновь остается посередине,





между нею и отцом... Гм! Случайность это? Нет, не совсем: всё против нее, всё и все. Вот и стул заупрямился, застыл в том углу и назойливо требует, чтобы дойди сюда, твое место здесь! И девочка подчиняется, идет туда и садится. Садится, понуриив плечи, съезжившись; грудь ее, и без того плоская, впадая, совсем западает, и ноги, как веревочки, сплетаются между собой. А мачеха, напротив, выпрямилась, приосанилась, тень вялости бесследно исчезла с ее лица, и оно сделалось так прекрасно, что невозможно отвести взгляд. Девочка совсем сникла, сжалась в комочек, кажется, она вот-вот растает.

— Почему ты солгала?

В голосе мачехи нет раздражения; она только просит объяснить, она совсем не сердится, но слова ее, точно отравленная стрела, пронзают падчерицу; она выпрямляется, выражение лица ее становится дерзким: как, мол, ты еще спрашиваешь? Будто и не знаешь, что это из-за тебя!

— Ты солгала и собираешься оправдаться? — будто бы удивляется мачеха, но в голосе ее нет и тени удивления, слова звучат бесстрастно; и на лице ее тоже нет удивления. Она сидит все так же неподвижно, полная очарования, похожая на дивное изваяние.

Какого же ей еще оправдания нужно? Ложь-то ведь успокоила отца, а ее избавила бог знает от каких неприятностей. Это же добрая ложь, во имя добра, такую ложь можно простить. Девочка замотала головой и открыла было рот, чтобы сказать что-то. Но что?..

— Ложь достойна всяческого порицания, — говорит мачеха.

Но девочка не опускает головы, она не уступает сразу, ей хочется возразить, хочется сказать, что ложь лжи рознь, но напрасно.

— Ложь есть ложь, — отрезает мачеха, — и любая ложь — низость.

— Нет, не любая! — Глаза девочки глядят задиристо.

— Любая! — повторяет мачеха.

— А если она к добру? — В глазах девочки остановилось упрямство.

— У лжи короткие ноги. Ложь и двуличие развращают душу... Запомни, я не потерплю лжи! — произносит она, порывисто поднимается и медленно, гордо выходит из комнаты, закрыв за собою дверь.

Из горла девочки вылетает какой-то звук, сухой и напряженный, руки ее кривятся в корчах и она припадает к дверям, — нет, она не открывает их и не бежит следом, на это ее не хватит; она припадает к дверям и в отчаянии царапает их, царапает и орошает слезами. Сдерживаемые до сих пор рыдания вдруг прорываются. Да, она еще, оказывается, по-прежнему маленькая, не подросла еще: не так-то легко обогнать собственные возможности; и не так-то легко, оказывается, вознаграждается добро. Выходит, человек может быть наказан справедливо и несправедливо, и все, все, оказывается, можно вытерпеть, кроме того, что не перепадает ей несколько отцовского тепла, отцовской ласки. И плачет девочка, лет слезы и царапает дверь, приговаривая в остервенении по слогам: ма-че-ха, ма-че-ха! И со всех сторон на нее напользают видения из старых сказок.

#### IV

Утром после тяжелой ночи ее ждала радость... Утомленная, сломленная, она проснулась поздно, вставать ей не хотелось, да и торопиться было некуда; не хотелось и вспоминать ничего, и она перебирала книжки и просматривала уроки, просто так, чтобы отвести душу, потому что нынче было воскресенье. Впрочем, она и без того не особенно надсаживалась над уроками — учение давалось ей легко и не требовало особого труда. Тут же, из постели, она протянула руку, стараясь дотронуться пальцами до сумки — вот-вот дотянется, только б с постели не свалиться, еще чуть-чуть, совсем немного, ей нужна только крошечная точка опоры, чтоб не свалиться с кровати — и это отвлекало ее, даже забавляло, и вдруг в это время раздался стук в дверь, легкий стук, и слышались слова, полные тепла: «Я иду на выставку, Лало...»

Это был отец, Лало же была она, собственной персоной, так он называл ее — при рождении ее нарекли Лейлой, но отец звал ее ласковым уменьшительным именем — Лало, хотя куда уже дальше было уменьшать, умалять ее, и без того щупленькую, маленькую. Но отцу это нравилось, и самой Лейле тоже нравилось, тем более что он и не так уж часто называл ее этим именем, а особенно в последнее время; да он теперь и полным-то именем не называл ее, просто пристально глядел ей в глаза, и никакая тебе ни Лало и ни Лейла, ни тепла, ни сочувствия, одни только наставления — бесчисленные наставления, наидания, исходящие от человека самоуверенного, которому каждое его слово, каждая фраза мнятся глубочайшей мудростью. Может, и вправду мудры были



3610363340  
3610363333

все его слова, но болью отзывались они в душе девочки, и хорошо ей было только тогда, когда с отцовских губ слетало это теплое «Лало».

«Я иду на выставку, Лало», — услышала она и вся затрепетала, подошла к кровати, застыла, — вот и нашла она наконец ту самую опору, которая помогла ей не свалиться с кровати и дотянуться-таки до портфеля. Дрогнула девочка, услышав это «Лало», напряглась, вся обратилась в слух, теперь она могла услышать и то, как падает пушинка, а уж звуки шагов и подавно. Но куда, куда они направляются, прямо ли к выходу или все к ней же, к мачехе?! Если к мачехе, то он подойдет, постучится в ее дверь, осторожно, любовно постучится и тихонько шепнет: «Я пошел на выставку, Этери»... Он не растянет ее имени, а выговорит с какой-то особой, певучей модуляцией... Ах, если бы кто-нибудь мог услышать, ведь так трудно представить себе, как он произносит это имя, прямо хоть нотные знаки пиши, но теперь не время для этого — нервы девочки так натянуты: постучится или нет, да или нет? Нет! Нет и нет! Скрипнула входная дверь, — на ней куча всяких задвижек и засовов, — вог и цель падает, засов отодвигается, дверь открывается и тут же хлопает, и одновременно с тем, как захлопывается дверь, девочка подкидывает вверх сумку, подкидывает и ловит ее и сама прыгает в постели — ах, как напрасно пролила она столько слез! А может, эта радость стоила пролитых слез? Теперь уже никто не заслонит от нее отца — отец ведь сам сказал ей об этом, сообщил, что уходит, назвал ее «Лало»!.. Теперь уже никто не станет между ними!..

Никто не станет! Но никто, собственно, и не стоял... И вытянутые руки застывают в воздухе, сумка падает: а не означало ли что-нибудь другое это его обращение к ней, не сказал ли он ей это лишь для того, чтобы она, та услышала? И произнося «Лало», не подразумевал ли он «Этери», так своеобразно им произносимое, что этого не передашь никакими буквами, а только одними музыкальными знаками? И не пряталось ли под этим желание помириться, не звучала ли в этом просьба о прощении — окольная и гордая — я, мол, о тебе и не помню, я своей доченьке сообщаю, куда иду, а ты там хорошенько поразмысли обо всем, ибо вчерашний мой гнев, правда, поостыл и я несколько успокоился, но не простил тебе всего, и ты обо всем этом еще подумай, постарайся вникнуть во всяком случае... — не это ли подразумевал отец? Как узнать? Он так тепло и нежно произнес это «Лало», но ведь, может быть, это была только месть супруге или просьба извинить его? Как знать? Он уверен, что она здесь, ведь девочка сама ему вчера сказала, что его супруга спит в ее комнате. Но девочка солгала, и вот теперь не может понять, кому же предназначались его слова? А если бы она не солгала? Гм!.. Тогда это «Лало»... было бы произнесено для нее, только для нее, и вот тогда-то она бы точно удостоверилась в том, что между нею и отцом никто не стоит, и легко бы в это поверила, а теперь не верит, теперь эти громко сказанные слова кажутся ей предназначенными для той, чужой.

Вот солгала и оказалась наказана, — недаром мачеха сказала ей, что у ljudi короткие ноги. А Лало еще не захотела ее слушать, заупрямилась и вот наказана за это. Но за что? Разве так уж велика ее вина? Разве не из жадности душевного, теплого, человеческого к ней отношения совершила она этот проступок, — если его можно считать проступком, — за который так теперь наказана?.. «... я иду, Лало»... Иди! Но только неужто ради одного этого тебе нужна Лало, неужели, при всей ее жадности стать тебе поближе, ты все равно устремляешь взор на ту, чужую, которая заморозила тебя и владеет всеми твоими чувствами и мыслями? Неужто это так? А как же дочь? Или она, твоя дочь, ошибается? Она ничего не может понять и так и застыла с заломленными руками. Портфель давно уже бухнулся на пол, и у нее самой подкосились ноги, и она бесильно осела на пол рядом с портфелем. Ах, не солги она, как легко было бы разгадать эту тайну, как просто!.. А ведь какая малость помешала ей! Да еще раскаяние...

Если бы отец хоть еще что-нибудь добавил, то, кто знает, может, не о чем было бы и думать, не о чем терзаться, но он больше ни слова не сказал, только слегка помедлил, — ответа ждал, что ли; я тоже, мол, иду! Или хотел услышать его от той, чужой, имя которой, чтобы выговорить его, надо было написать нотными знаками на нотном листке; да, наверное, от нее он хотел услышать ответ, и как бы он ему обрадовался, с каким нетерпением стал бы ждать, пока она соберется; он ждал бы столько, сколько б ей, той, чужой, захотелось. Да, это наверняка так! Ведь он всегда вообще в поисках примирения бывал страшно терпелив, и его терпение всегда вознаграждалось. Но на этот раз он ничего не услышал в ответ, и ожидание было бы тщетно, — застучали дверные засовы, закрипели громче обычного двери, открывая которые он замедлил движения, будто ноги его не хотели идти: он ожидал, но так и не услышал желанных слов и вышел в подавленном настроении, взволнованный, расстроенный.



Но все это были догадки Лало, хотя, надо признаться, догадки без-  
ошибочные.

Мрачный, угрюмо насуслепленный вышел из дому ее отец, но пока он  
новал небольшой спуск и ступил на ровную улицу, настроение у него нескоть  
ко выровнялось. Стали встречаться знакомые, они раскланивались с ним, и  
он, напустив на себя беспечный и бодрый вид, раскланивался с ними лр-  
безно на всем пути до Галереи.

День выдался погожий, мягкий, теплый, один из тех славных осенних  
дней, что разгоняют невеселые думы. О тбилисской осени можно бы сказать  
много, хотя бы то, что тбилисцы любят свою осень, любят и восхищаются  
ею. Можно бы сказать и больше, да грудно, потому что как сказать, когда  
пейзаж-то ведь не меняется, а только красятся и перекрашиваются разма-  
леванные в сотни разных цветов стены, но для этого не ждут ни осени, ни  
зимы, и только-то. А что же, собственно, меняется? Разве что листья об-  
летают. Но что такое какие-то листья для большого города? Ровным счетом  
ничего. И больше никаких других особых внешних признаков, только какое-  
то особенное тепло да необычайно нежное солнце, что так и тянет выйти на  
улицу, погреться на самой груди солнца, и только о том и мечтаешь, как бы  
оно ни зашло. А к вечеру поднимается ветер, и тогда, словно в пику обла-  
кавшему тебя дневному солнцу, в воздухе начинает тянуть сырым, промозг-  
лым холодком. Но и это не страшно: оденся только потеплей или посиди  
вечерок дома, пережди до завтрашнего дня, а когда снова взойдет солнце,  
тогда и ты выходи. И еще долго, долго будут тянуться веревочкой чудесные  
теплые дни, какие-то особенно мягкие, ласковые, бодрящие, — вот какова  
она, тбилисская осень. Да еще ощущаешь себя как-то по-особому, что-то  
словно поблескивает тебе в воздухе, серебрится, улыбается, и ты вдруг поче-  
му-то начинаешь чувствовать, словно ты совершенно одинок, хотя бы даже  
тебя окружали друзья или кто-то просто был с тобою рядом, — все равно  
ты один: это на тебя указывает перст солнца, для тебя все серебрится, тебе под-  
мигивает, тебя чарует, завораживает, наполняет силой, бодростью, верой, —  
вот такова она, эта тбилисская осень!..

Но какова бы она ни была, она так или иначе разогнала его печаль хотя  
бы до времени возвращения домой. А день-то был в самом деле поразительно  
ласков, и в этот день открывалась осенняя выставка художников, а у самого  
входа на выставку стояла его скульптура «Моряк», которая вызвала бурю  
восторга и похвал и которую теперь, при открытии выставки, должны были  
отметить особо, — зрители устроят ему овацию, потом они станут подходить  
к нему и каждый будет пожимать ему руку.

Славный день выдался, и обещал он ему только все доброе, обещал,  
что развеется принесенная из дому печаль, ибо чему под силу устоять перед  
успехом художника? Конечно же ничему. Что рядом с ним супружеские рас-  
при и размолвки? Даже самая, казалось бы, страшная весть не смогла бы за-  
глушить этой рожденной Успехом радости! — куда там заглушить, когда  
удовлетворение художника, его радость и окрыленность могли совладать да-  
же с самым страшным несчастьем. Одно только то, что художник никогда не  
довольствуется малым или же сам не понимает, что создает, — полонный  
истинно прекрасным, он жаждет его гармоничного воплощения и, считаемый  
внутренним огнем своих великих устремлений, ищет и не может обрести  
удовлетворения. Это поистине так, но только не о нашем художнике тут идет  
речь. Хваленный и перехваленный, он не раз познал восторг самоудовлетво-  
ренности, и веры в себя у него хоть отбавляй. Но и самые высокие радости  
не сделали его тем, кто забывает о всех других. В самые счастливые свои  
дни он всегда помнил о великих мастерах прошлого и только дивился про  
себя, почему это им было неведомо чувство удовлетворения? Почему они ли-  
шали себя этого замечательного чувства, почему обкрадывали сами себя? И  
почему все они вынуждены были бороться, что делало жизнь художника по-  
хожей на жизнь воина? Он не раз дивился этому и задавал себе подобные во-  
просы, ибо сам он не знал борьбы, а что до уверенности в себе, то окружаю-  
щие давным-давно убедили его в том, что он большой художник... Поначалу  
сам-то он мало верил в это... Если покопаться в годах его молодости, то мож-  
но сказать, что некогда он был скромным человеком, хотя кое-что мог напо-  
нить ему и о высокомерии: было у него и тщеславие, и бурная потребность  
хулить других; владели им и другие слабости, в юности он был сдержан в  
проявлении своих чувств, тогда слабости его не давали о себе знать, и, воз-  
можно, из него получился бы славный мальчик. Впрочем, не следует думать,  
что впоследствии он стал коварным или вероломным — вовсе нет, несколько  
никакого коварства в нем не было, и никакого вероломства он не собирался  
никогда совершить, если б, впрочем, не нашлось любителей подзадорить его,  
но, может, таких и не находилось? Но только познав однажды хвалу и пре-





вознесения, он бы уже не вынес, если б его и в дальнейшем не стали превозносить, ибо, втемяшив ему однажды в голову, что с него начинается подлинное, истинное обновление и возрождение скульптуры, надо было без конца повторять ему то же самое. Однажды вознесенный среди прочих, отмеченный и избранный, он не смог бы снести, чтоб о нем когда-то забыли, не выбрали бы в самую что ни на есть пустяковую комиссию. Вот к чему его приучили! И теперь, когда пишут даже о ком-то другом, то все равно непременно упоминают и о нем, как о примере, образце, как о лучшем из лучших — и вот этого он уже не может никому уступить. И пойдя так и дальше, он будет яростно негодовать против самых низкопробных рецензий — да, этого он не сможет перенести, хотя сам он по натуре не столь мелок. Когда следовало шуметь, он недовольно ворчал, но умел порой, когда считал это необходимым, только в исключительных случаях, сказать и во весь голос, поэтому с ним не связывались, ему уступали, возведя это по инерции в правило. Может быть, именно потому он и не дошел до подлости, а может, и вовсе не был на нее способен, говорят ведь, что в молодости был он корректен, уважаем, тактичен, но уже тогда его убедили в его исключительности, и он в это поверил, а теперь пора юношества уже давно отлетела. Поверил, потому что его очень долго в этом убеждали, — нет, впрочем, он не сразу поверил и слабости свои не сразу начал выявлять, или, может, тогда еще не было случая их выявить. А когда он уже начал себя показывать, то бывшие певцы его таланта стали постепенно смолкать, но смолкать исподволь, потихоньку, только он-то все равно это заметил, а заметив, всполошился, — оно и понятно; можно ли было выпустить из рук уже завоеванное, преподнесенное? Нет, он ни на йоту не мог уступить. Вот когда его только прощупывали, проверяли, тогда еще он мог призадуматься, но теперь уже ни в какую! Он так, правда, и не совершил никакой подлости, но переубедить его в том, в чем его когда-то убедили, больше уже было совершенно невозможно, — поддавшийся однажды внушению, он как художник был теперь исполнен упрямой самоуверенности. Вот и выходит, что не так уж он и виноват был. А в общем-то все это если и проявлялось, то едва заметно, а могло бы сказаться сильнее — но и это не страшно, день-то чудесный, и его ждет осенняя выставка, сулящая ему новую славу. И он это уже предвкушает — он как торжественно и почти-точно раскланиваются с ним знакомые, — они, еще издали заметив его, спешат его приветствовать. На проспекте Руставели знакомых становится все больше, и их приветствия, похожие на поклонение, все более приобретают какую-то особенно праздничную окраску. А уж подле самой Художественной галереи его встретит целая армия знакомых и почитателей, истинных его почитателей, там будут сливки круга, в котором он вращается, — художников, литераторов, ученых — он не успеет даже пожать всем руки, и хотя не принято обходить всех и всем пожимать руки, ему все равно не унять себя, — он непременно подойдет к каждому и с каждым в отдельности обменяется рукопожатием, — и все будет тянуться к нему и он ко всем — ведь скромности его не убудет — наоборот, это зачтется как достоинство; да, там, в Галерее, он всех обойдет, а здесь, по дороге, будет кивать всем знакомым головой, и лицо его будет исполнено того же выражения приветия, как если бы он пожимал при этом руку. Пусть он многих не знает, несомненно, все это любители искусства, а может, многие из них ему и знакомы, только теперь он никого не выделяет из общей массы — словно какая-то пелена, фиолетовая пелена застилает ему глаза, от растерянности это, что ли, но, впрочем, и растерянность и рассеянность — удел художников. Поэтому он и не признает в лицо всех тех, кому отвечает на приветствия — воистину, хороший сегодня день, это его день. Листва на деревьях поредела, и солнце равномерно расплескивая свои лучи, ласкает ему лицо, холеное, изнеженное лицо, играет в его синих глазах, поблескивает в хорошо ухоженных седеющих волосах — ведь он уже в зрелом возрасте, хотя, положим-то, седина у него рано пробилась и оказалась ему к лицу. В ту пору, когда он был юношей, его очень украшали не столько белокурые волосы, сколько гармонировавшие с ними скромность и обходительность, ну а потом природа, вовремя спохватившись, восстановила начавшую нарушаться гармонию и, облагородив его внешность сединой, придав ей респектабельность, сделала его еще более привлекательным. Да, будь ему нужно еще что-нибудь, она распорядилась бы дать ему, прибавить и это, потому что он-де родился в рубашке. Это могло быть сказано и с тем расчетом, чтобы он услышал, — он бы не обиделся. Не обиделся бы потому, что говорилось это не в раздражительном, а в благожелательном тоне, а ведь даже злые слова, сказанные мягким, благожелательным тоном, звучат не зло.

День стоял такой, что ничего дурного не могло прийти в голову, и поэтому он шел до самой Галереи в приподнятом настроении. До возвращения





домой было еще далеко, и пока все в нем пело и ликovalo, — бог с ним, что будет потом, может, радость и уйдет, но какой-то ее отголосок ведь все-таки останется в душе, а это иной раз больше, чем сама радость, ибо что есть радость в ее мимолетности? Ничто!

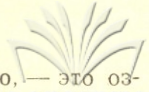
Но что там будет или не будет, а пока несомненно одно — сейчас его любезно и обходительно встретят, наговорят ему кучу приятных слов, и он уйдет оттуда довольный, убагодворенный.

И пусть в этом общем потоке глаз от него не ускользнут критические, а может, насмешливые, да и всякие другие взоры, он соединит все эти взоры в один, назвав их одним словом — зависть. И его нисколько не заденет, он даже подойдет кое к кому, приветливо улыбнется и простоудушно, как ны в чем не бывало — словно до него и не доходит эта игра под сурдинку — заглянет им в глаза, словно бы говоря: желаю и вам успеха! А разве возможна большая скромность, да и большая смелость, пожалуй? Но этого у него всегда было в избытке...

А день был так хорош, что и мелькни где зависть — ее не заметишь, и в душе у него не осталось местечка для каких-нибудь сомнений и опасений. В такой день не могли жить ни зависть, ни любые другие дурные помыслы. Прозрачный воздух струился и озарялся серебряным мерцанием. Этот удивительно светящийся воздух отражался в глазах людей и наполнял их блеском. И он шел и приветливо раскланивался со всеми, как тому и должно было быть. Так и было от памятника Ниношвили до Кашветской церкви. Но у самой Галереи все пошло иначе: не успел он подойти к ступеням широкой лестницы, как появились Высокие гости; за ними суетливо поспешали отдельные группы, и он тоже торопливо припустил за ними, успев пожать руку только тем немногим, что взбегали по лестнице уже вместе с ним. Здесь он нарочито замедлил темп, чтоб степенным шагом войти хотя бы вместе с одной из небольших групп в выставочный зал, и, задержав их чуточку у входа, хоть как-нибудь на скорую руку растолковать, пояснить, на что следует обратить особое внимание на выставке, что здесь значительно, на что надо посмотреть в первую очередь после того, как закончится церемония открытия. А может, их вообще надо задержать здесь, у входа, не дать им зайти внутрь — голос оратора и сюда долетает, а то, на что следует смотреть, как раз стоит тут же, под боком. Да, он очень старался и почти сумел провести свое, — он шел, широко ступая, расправив плечи, размахивая руками и подмигивая глазами, и в какой-то степени сдерживал движение толпы и направлял ее поток. А люди и не замечали этого, не ощущали, что идут с заминкой: войдя вместе со своей замешкавшейся паствой сначала через главный вход, а потом через внутреннюю стеклянную дверь, он остановился с горделивым видом, вот, дескать, и пришли, прошу оглядеться вокруг! Но люди крутили головами, продолжая идти мимо, кто-то столкнулся с ним, но тут же торопливо отошел; входили еще и еще, но тоже проходили мимо него, а он стоял, остолбеневший, открыв рот и вытаращив глаза. ведь он был совершенно уверен в том, что это стоит здесь, и вдруг этого не оказалось; все остальное стоит себе прекраснейшим образом одно за одним, но это все не его, а чужие произведения, его же скульптуру, видно, куда-то перенесли, а то и вовсе вышвырнули... Но не он ли сам распоряжался, куда ее ставить, — вот здесь, у входа в правый зал? Не сам ли он руководил всем этим, крутился тут, проверял освещение? Он ведь еще позавчера и вчера сам проверил и поправил все, проторчав здесь чуть ни до вечера!.. Оставалось, значит, только заночевать здесь? Да, он слышал краем уха недовольную воркотню — не место, мол, здесь этой скульптуре! — но он и мысли не допускал, чтоб против него осмелились так открыто пойти. Но, оказывается, всего можно ожидать! Выходит, осмелились; выходит, он должен был всю ночь провести тут в неусыпном бдении, с ружьем на взводе, тогда бы смельчаку, решившемуся на это, дорого обошлась его смелость! Он и теперь этого не оставит так, и кому-то это не дешево обойдется. Надо выждать, когда директор Галереи окажется в окружении молодых скульпторов, и двинуться на него, с этого надо начать, а дальше поглядеть, куда поведут следы преступления, да, именно преступления, потому что это ведь не просто лично ему нанесенное оскорбление, нет, это гораздо большее, это — недооценка искусства! В этом он не уступит, тут он никого не пощадит, не пощадит, кем бы они ни были, ибо искусство превыше всего. Так в сердцах думал он, негодую про себя. Но нет, прикусил он губу, всего этого не следует больше даже и в мыслях повторять. Просто искусство искусству рознь, и он будет отстаивать свое искусство...

Понемногу шум стих, наступила тишина, настало время объявить выставку открытой, и оратор начал свое слово. Нет, поднимать шумиху теперь было не ко времени, к тому же следовало послушать выступавшего, узнать его мнение, поглядеть, уж не вздумал ли тот пренебречь им, — тогда он зараз выплес-





нет все обиды! Но нет. Вот он услышал свое имя и свою фамилию, — это означало, что его отметили, — и больше ему уже ничего и не было. При этом причем его отметили среди первых. Все остальное в словах говорящего теряло для него значение; оставалось только выяснить судьбу своего произведения, и он заспешил к директору Галереи. Тот, увидев его, сам двинулся навстречу — он, видимо, уже раньше заметив его, не сводил с него взгляда и теперь показал пальцем на левый зал: мы-де, туда перенесли твою работу, ко входу, там-де, перспектива лучше, просто великолепно смотрится, а здесь никуда не годилось, вещь и сама не смотрелась, и другие работы заслоняла. Обернувшись, он посмотрел, куда показывал директор, и как будто и сам убедился в этом, а директор уже подходил к нему с таким видом, что, казалось, он ждет благодарности. Однако его не удостоили ни взглядом, ни словом, ибо лучше ли, хуже ли, все равно надо было спросить у автора, поставить его в известность об этом; но так и на самом деле как будто бы лучше, и, главное, стоит на самом видном месте, у входа. Но это он только бодрился, тешил свою гордость, ибо, откровенно говоря, ведь тут и неизвестно, где вход и где выход и что здесь признано за начало, что — за конец. Вход сделали в самой середине, образовав небольшой зал, а справа и слева от него тянулись громадные залы, вернее, не громадные, а скорее просто длинные, но совсем не широкие, ну да бог с ними, пусть себе называются громадными, только все же непонятно — где же тут все-таки начало? Но, пожалуй, все-таки главным казался входной зал, украшенный весьма торжественно, — потому-то он и пристроил там свою скульптуру, решив, что это и есть начало выставки. Но скульптуру выволокли оттуда и приткнули в конце левого зала, а теперь уверяют, что перенесли ее в начало. Неужели директор и сам верит в это или он только его уверяет? И при этом держится так невозмутимо, словно еще от него ждет благодарности, — гляди-ка, мол, как она великолепно смотрится!

«Да, это так!» — отвечает он глазами же директору, но про себя думает — смотрится-то смотрится, да не твоими стараниями, а благодаря достоинствам художника! И тут он снова слышит свое имя. Это его охлаждает — ладно, бог с ней, пускай себе стоит тут, народ-то по всем залам ходит!

Но директора он-таки не достаивает ответа, досадуя, что вообще посмотрел в его сторону. Он немного подается назад, осторожно, незаметно, и, отступив, выходит из толпы, — директор уже далеко. Это тоже знак протеста. Внимательно рассмотрев «Моряка», он вдруг решил, что на него с одной стороны ложится тень и он плохо виден, но, может, ему показалось, что это так. Или захотелось видеть так, чтобы еще больше разжечь в сердце обиду, — ведь залы были полны света, его в обилии приходилось на каждый уголок, осеннее солнце играло и переливалось на стеклянном потолке, и он сверкал и блеснул. Ведь ради этого и была построена Галерея — ради такого моря света, сияния, блеска; правда, Галереей-то ее сделали теперь, а прежде это был «Храм воинской славы», и под этим щедро льющимся световым потоком во всей своей наглядности должна была видеться мощь выставленного оружия. Светом полнились и небосвод над городом, и хотя этот праздник света переняли из Римского выставочного дворца, только уменьшенный, доведенный до ничтожных размеров, однако недостатка в свете не было ни раньше, ни теперь, особенно если к тому же не забывали почистить и потолочные стекла... Нет, все это были мысли человека раздраженного, ищущего, на что бы ему излить свою желчь, и с досадой думавшего о том, что его скульптура плохо освещена. Но всю накипевшую в груди горечь он приберегал на тот случай, когда она сможет пригодиться.

## V

Нет, повод для этого еще представится, рано или поздно, но представится... Приветственное слово закончилось, выставку провозгласили открытой, и художники и гости смешались в одну толпу: гости поздравляли художников, художники поздравляли друг друга, ибо, конечно же, всем все нравилось, кругом царил полнейший восторг и со всех сторон только и слышалось «Прекрасно!», хотя, разумеется, отнюдь не все работы могли быть прекрасными, далеко не все — одна, две, да и то под вопросом. Все хорошо понимали, что на выставке было представлено немало слабых работ, но здесь об этом ничего не говорилось и не могло быть сказано; выражались только одобрение и восторг, и ни на одном лице нельзя было прочесть и тени сомнения. Только покинув выставочные залы и отойдя от них на почтительное расстояние, люди давали волю языку, и вот где разгорались суды-пересуды, перешептывания и перемигивания. Публика сплетничала о художниках, художники перемывали косточки друг другу, страсти разгорались необыкновенно. Но это было после — пока же





выражались восторги, слышались поздравления, — и он сам тоже пылко вос-  
 кличал: «Великолепно! Превосходно!» — хотя в душе был непоколебимо  
 рея, что великолепным и превосходным на этой выставке был лишь его «мо-  
 ряк». Впрочем, честно говоря, ни он, да и никто из критиков не могли бы сказать  
 толком, отчего это именно моряк, а не, скажем, металлург или хотя бы строи-  
 тель, или кто-нибудь другой? Да, ни одному искусствоведу, социологу, знатоку  
 профессиональных особенностей, как и ни одному деятелю любой другой отрас-  
 ли, не под силу было бы ответить на этот вопрос. И только сочинителям деше-  
 вых рецензий ничего не стоило одним росчерком пера, не дрогнув рукой, кон-  
 статировать «тематическое многообразие» и тем доставить ему огромное удо-  
 вольствие, ибо именно этим-то «тематическим многообразием» он всегда так  
 кичился и похвалялся, изображая из себя первооткрывателя тем. Так, своим  
 «Моряком» он открыл в грузинской скульптуре морскую тематику. А между тем  
 на морском побережье давно уже стояли гипсовые мальчик и девочка, готовые  
 вот-вот прыгнуть в воду, — и он, конечно, их видел, но только пренебрежительно  
 кривил губы — безыдейность, мол, и формализм; нельзя же было их объ-  
 явить «исходом», ибо началом должен был быть он, огромный, могучий, непо-  
 колебимый...

Когда поздравляли его, он верил, что это искренне, он же сам поздравлял  
 других из простой вежливости, помня о принципах дидактики — надо, мол, все-  
 гда поддержать человека. Высшего благородства нельзя было и требовать, к  
 тому же от художника, столь прославленного...

Великая тень не поздравляла ни его и никого другого. Появившись, ко-  
 гда оратор еще говорил, она просто двинулась по рядам полотен и скульптур,  
 слегка растягивая в улыбке губы при встрече со знакомыми, чуть наклоня го-  
 лову и делая едва уловимое движение плечами — вот и все приветствия или  
 поздравления. Она прошествовала по Галерее, ни с кем не остановившись и не  
 задержавшись ни у одного полотна, а лишь скользнув по ним взглядом, и выш-  
 ла. Вышла так, будто ее привело сюда одно желание собственными глазами  
 оценить, есть ли что-нибудь стоящее на этой выставке и лежит ли хоть на чем-  
 нибудь печать истинного искусства, а уж потом, попозже, она придет снова,  
 чтоб рассмотреть все как следует, и придет не раз, и не два раза, а несколько  
 раз, придет надолго, присядет, и будет так сидеть, прищурив глаза, словно в дре-  
 моте, будет долго сидеть так, переживая впечатления, утопая в видениях истин-  
 ного искусства, ибо пленительное, чарующее плеснет на миг и исчезнет; и в  
 поэзии ведь тоже бывает так, — ударит всплеском прекрасное, осенит небосвод,  
 човлечет к себе. И душа взмывает ввысь, устремляется к нему, душа, но не  
 плоть тянется к прекрасному, плоть не может последовать за душой, ибо она  
 весома и бrenна, потому душа и отвергает плоть, отрешается от нее и та обо-  
 рачивается тенью; но душа и тени этой не хочет, она и ее гонит прочь, земную  
 тень. Но вот рассеялся изумительный мираж, и душа вынуждена сойти обрат-  
 но на землю, — ей нужно пристанище, лишь временное пристанище, ибо пре-  
 красное еще и еще, бессчетное число раз мелькнет на небосводе... Это присуще и  
 поэзии, и живописи — видения истинного искусства сливаются воедино, и пре-  
 красное предстает во всем своем озарении... Да, тень посидит, прищурившись  
 приглядится, но только если среди всех этих работ окажется что-то истинное,  
 такое, на что легла печать подлинного искусства, а если ничего не найдется, то  
 тень только скользнет по стендам взглядом, приветит знакомых чуть уло-  
 вимым движением плеч и уйдет...

Словно тень набежала или облачко скользнуло по стеклянному куполу, и  
 солнечные лучи пронесли эту облачную тень по всему залу, пронесли внезапно и  
 так же быстро рассеяли, сожгли в ярком всполохе. Но она где-то продолжала  
 там витать, где-то ощущалась, эта тень божественного призвания. Витали и  
 другие тени, только, в отличие от этой, совсем маленькие, но грозные, още-  
 рившиеся в своей ярости, беспощадности — тени зависти, предательства, ал-  
 чности, отвергающие предков своих, и другие тени — тени низости и бесче-  
 стности; они метались, кружились, окапывались во всех уголках. Но когда  
 являлась Великая тень, все они сжались в жалкий комок, истончились и раз-  
 веялись. Но только она удалиться, эта Великая тень, она снова тотчас же за-  
 бегали, засуетились, смешались, сцепились друг с другом, словно только и  
 ждали момента выплеснуть свою звериную ярость.

— Вибо!.. — то ли позвала его какая-то из этих теней, то ли его и в  
 самом деле окликнули. Он не успел разобратся, потому что в это время к  
 нему подошел корреспондент вечерней газеты: не поделитесь ли вашими впе-  
 чатлениями? И он поделился. Потом его снова окликнули, и он опять не раз-  
 зобрал, откуда его зовут, хотя имя свое рассыпал отчетливо. При рождении  
 его нарекли Амбросием, но имя это было ему не по душе и тогда еще, когда  
 он был скромным парнем, и тем более после, когда он сделался признанным  
 из признанных. Ведь немало кто и из поэтов не любил своего имени. Кто



сокращал свое имя, кто придавал ему новое звучание, а кто и придумывал для себя новое, более мелодичное или изящное имя, словом, распорядились своими именами кому как вздумалось. Вот и он рискнул, глядя на других, недаром ведь говорят, что подражание хорошему облагораживает человека. И Амбросий превратился сначала в Абибида, а потом и в Бибо. Этому последнему чуть, правда, недоставало музыкальности, но зато оно радовало слух своей лаconичностью и к тому же сохранило в себе какую-то близость с первородным.

— Бибо! — еще громче позвали его, и он, догадавшись, наконец, что его кличут из среднего зала, поспешно завершил разговор с корреспондентом о своих впечатлениях и направился туда.

На том самом месте, где должен был стоять «Моряк», стояли двое, заслоняя собой «Женский портрет», поставленный вместо его «Моряка». Лица обоих были разверсты в улыбку, но в улыбке насмешливо-иронической. Однако как только мимо проходил какой-нибудь участник выставки, насмешку тотчас же сменяла полнейшая благожелательность. Участника поздравляли, желали ему новых успехов, провожали взглядами, исполненными самой искренней благожелательности, но стоило ему отойти, как они быстро обменивались взглядами и на их лицах появлялось прежнее насмешливое выражение. И только перед Бибо не разыграли они привычного спектакля, не прикрылись притворным выражением; увидев его, они отодвинулись друг от друга, чтобы дать ему посмотреть на заслоняемый ими «Портрет», а затем снова тотчас же сомкнулись плечом к плечу, и «Портрет» открылся ему как бы невзначай, словно бы они это просто так потоптались на месте и «Портрет» случайно выглянул из-за их спин.

— Куда же делся твой «Моряк»? — спросил один из них участливым голосом. Бибо уязвило это сочувствие, но он и виду не подал — плакаться перед ними и показывать им, что он обижен и оскорблен, было бы унижительно для его достоинства.

— Там лучше перспектива... — начал было Бибо.

— Будто бы? — осклабился первый.

— И ты поверил? — поддержал первого второй. — Гм! Значит, поверил и уступил... — вскинул он голову. Вскинул голову и первый. Они стояли рядом, плечом к плечу, но, впрочем, «плечом к плечу» — это условно: первый был низенький и едва достигал подбородком до плеча второго. Но так или иначе «Женский портрет» они все же заслонили. Помолчали — посмотрим, мол, что выдавит из себя Бибо.

— А почему и не поверить? — возразил Бибо. — Вот взгляните, отсюда хорошо видно.

— Ах, отсюда взглянуть? А может, еще и прожектор принести? — съехидничал первый, низенький, и ткнул подбородком в плечо второго.

— А почему, собственно, скульптура не должна быть видна со всех сторон? Почему она не должна сразу, как только вступишь, бросаться в глаза?

— Да нет же... — неуверенно промямлил Бибо. — Почему?.. — повторил он, и трудно было понять, что это означало, — шел ли он на уступку или продолжал злиться, сердиться, что его работу перенесли; а может, его раздрали противоречивые чувства, может, он был на распутье, и его швыряло то в одну, то в другую сторону.

— И правда, почему? — елеино протянул второй. — А может, так правда лучше? — и он отошел от «Портрета». Первый тоже последовал за ним, и незаслоняемый теперь «Женский портрет» оказался на виду у всех. На него тотчас же обратили внимание, стали подходить одни, за ними другие, потом эти стали уходить, а другие, новые, подходить им на смену. «Портрет» с интересом рассматривали со всех сторон, вблизи и на расстоянии. Эти двое почувствовали себя съверно: снова сомкнуться и заслонить «Портрет» было уже нельзя, и сказать уже ничего нельзя было, оставалось только с ненавистью смотреть на каждого, кому нравился «Портрет». Наконец, уловив момент, они снова наглухо заслонили «Портрет» и пристально поглядели в глаза Бибо. Но и Бибо не дрогнул — четыре глаза вперились в два, две пары — в одну пару, вперились и пронзили.

Давненько знали друг друга эти глаза, давненько и хорошо, — и красноватые пятнышки, и темные прожилки, и форму зрачков, все досконально знала она, даже мысль, затаившуюся за зрачками, угадывали, ничто бы не смогло ускользнуть от них, ничто бы не смогло обмануть, провести, — и Бибо не выдержал. В глазах этих двух затаились обида, обида и раздражение, за себя и за него, хотя, наверно, скорее только за себя, но все равно обида застыла в их глазах, и они, растравленные, молча вопрошали:

— Почему?! Отчего?!





Действительно, отчего? — вопрошал теперь уже и Бибо, но пока только одними глазами, желая, видимо, почувствовать сопричастникам его переживаний, сначала вот этому, что стоит справа, — он спросил первым, почему мы и окрестили его Первым. Но только вот непонятен источник его печали — он-то ведь не выставлялся, и никто его не обидел; так чему же тут сочувствовать? Или, спрашивается, чего ради обижаться тому, что стоит слева? — он вступил в разговор вторым, и мы Вторым его и нарекли; так вот, Второй хотел показать свою «Южную Африку» — исполинских размеров скульптуру, которая и не вошла бы в эти двери: исполинского роста негра с обрывками цепей в огромных ручищах... «Замечательно, — говорили ему, — превосходно!» Так чего ты мешкаешь, почему не спросишь у него, почему не обнадежишь, что его работу вот-вот приобретет, купит какая-нибудь страна, за ней потянутся другие страны, они захотят приобрести целый воз таких скульптур. Правда, за это время выставка уже открылась, но с чего ему, собственно, обижаться! Не с чего, совершенно не с чего. Да и другому тоже не с чего, нечего им и терзаться! А если они все же терзаются, переживают, то, значит, только из-за него, из-за Бибо, за него болеют душой, за давнишнего друга переживают и в то же время досадуют и недоумевают, — неужто он может молча стерпеть такое оскорбление?

«Но... воля хозяйская!» — дают они ему понять всем своим видом, отходят от «Портрета» и становятся по обе его стороны...

Теперь они уже молча смотрят на «Женский портрет». Скульптура вся словно выточена из слоновой кости. Она словно вот-вот заговорит, начнет дышать, да она и на самом деле что-то шепчет, вот погодите, пусть стихнет шум, и тотчас же послышится шепот... Но шум не стихает, кругом веселое оживление — сегодня открылась выставка, стоит несмолкаемый гул, хотя громко никто не разговаривает. Радость на то и радость, она заставляет звенеть и приглушенные голоса и какой-то особенный гул разносит по залам... А она... Будто прошептала что-то и смолкла... Грациозно изогнута гордая шея, маленький рот приоткрыт, только чуть-чуть приоткрыты слегка припухлые губы, полные затаенной страсти, и от того, что они слегка приоткрыты, кажется, что они только-только прошептали что-то... А может, это молящаяся, стоящая перед иконой? Нет, им этого не представить. Глаза ее подернуты поволокой; она словно ни на кого не смотрит, ничего не видит, но видит всех и все, только ничему не удивляется и ничего ее не радует, хотя сама она и познала радость... Страдала ли она? Этого и вовсе им не узнать, ибо хоть и горда она, но остается мягкой, нежной и хрупкой, и если и чувствуется в ней сила, то сильна она духом. Это сразу чувствуешь. Она прекрасна душой, весь ее облик прекрасен, — отдельные черты ее не станешь разбирать, она вся прекрасна и кажется живой.

Двое рассматривают ее, косясь нет-нет на Бибо. Бибо же и на «Портрет» не глядит, и на них старается не смотреть. Ежеминутно кто-нибудь подходит и восторгается «Портретом»: одного сменяет другой, третий, четвертый... И все говорят, говорят... Давно пора и этим двоим уйти, но они ждут, когда же он останется один, чтобы сказать ему... И вот:

— Молокососа выдвигают... — произносит Второй.

— Желторотого, — уточняет Первый. И все трое выходят на улицу.

А день изумительный, пьянящий, сладостный. И воздух такой прозрачный. Солнце подстерегает их у самого выхода. Они останавливаются в нерешительности. Люди выходят и заходят, а они мешают идущим, застряв на пороге. Наконец, решившись, спускаются по лестнице и выходят на проспект; они уходят с выставки, но уходят не очень-то далеко, — они заходят в кафе «Тбилиси», заказывают «Тобаани», садятся подле окна и раздвигают шторы, чтобы впустить солнце, — все столики стоят на солнце, и они свой столик тоже переносят на солнце. На улице солнце разлилось рекой, оно затопило весь проспект, так что все тени исчезли. Люди нежатся на солнце, словно хотят слиться с ним, и двигаются не спеша, неторопливо, чтобы побыть на солнце как можно дольше; лица у всех озаренные, светящиеся — это солнце смеется, оно дарует наслаждение и смеется, это обволакивающее, теплое осеннее солнце. На лицах нашей троицы тоже прыгали веселые солнечные блики, но и угрюмые складки на их лицах мешают солнцу пробиться к ним в сердце, однако от лиц оно не отступает, прыгает по ним, резвится. Только Бибо не столь хмур, как те двое, хотя меж бровей у него пролегает продольная складка. Что же до его друзей, то тут уже не скажешь «складки» — их лбы и щеки изрезали целые рвы. Но солнце и в этих рвах резвится. Если что и выдает состояние Бибо, то только залегшая меж бровей складка. И все же он сохраняет трезвость мысли и проявляет немалую осторожность, — да, не так-то просто его разоблажить друзьям подшепнуть его на удочку. Между тем друзья его очень раздосадованы: да и есть отчего — вот, например, Первый, которому при рождении



дали имя Геннадий и которого близкие зовут просто Геди, что означает... «Гибель». Но какой же он Геди, помилуйте? Хилый, шуплый — заморыш какой-то! Так вот этот самый Геди, т. е. Геннадий, «пребывал в состоянии детского творческого кризиса». Как-то в дни молодости он впал в ошибку, да так основательно, что его окрестили формалистом. И хотя он ни черта и не смыслил в этом самом формализме, это не важно, главное то, что к нему прилепилось это прозвище, ну а то, что он даже не знал, с чем его, этот самый формализм, едят, это пошло ему на пользу. Он вовремя учуял новые веяния, ступил на прямую дорожку и попал, что называется, в самую точку. Его почесало лепить передовиков. Он здорово поднатерел в этом деле и гигантскими шагами пошел в гору. Потом что-то произошло, все перепуталось, он растерялся, не зная, как быть, что делать, — вот в результате он и пришел, этот «некоторый творческий кризис». Оставалось одно — ждаться в муках, пока он не пройдет, этот кризис или там дуристость какая-то — кризис для искусствоведов, а для нас просто дуристость и беспомощность. А вот Второй, Нестор, скульптор, набил руку, — естественно, с точки зрения искусствоведов, — в монументальном жанре, в монументальном и боевом жанре. Уж он-то не испытывал никакого кризиса. Напротив, отмечали, что он «испытывает творческий подъем» — во всяком случае, любители стряпать рецензии считали именно так. Ему, казалось бы, и горя должно было быть мало. Но что-то съедало его, а это значит, что было нечто общее, тревожившее всех, а значит и его. И хотя Бибо знал гораздо больший и общепризнанный успех, чем Геннадий, однако было очевидно, что на этот успех легла какая-то тень, может, пока бледная тень, но все-таки достаточно ощутимая для того, чтоб ее успешно подметить его друзья, но не он сам. А между тем неплохо было бы ему быть повнимательней, присмотреться, с осторожностью все взвесить, но поддаваться, конечно, не следует, однако как бы и не опоздать, не оказаться в дураках. А друзья на то и друзья, чтобы быть начеку.

— А тебя поставили в известность? — спросил Первый, то бишь Геннадий или Геди, и больше ничего не добавил, ибо и так было достаточно ясно, что именно он имел в виду.

— Нет...

— Так я и думал. — И Первый, т. е. Геннадий или Геди, повернулся ко Второму, т. е. к Нестору.

— Гм!.. — только и хмыкнул Нестор, дескать, ах, что это я слышу!

Им принесли вина. Все трое осушили по бокалу. Гости никто не сказал, они только подняли бокалы, посмотрели друг на друга и выпили; посмотрели так, словно проверяли друг друга, вернее, словно двое испытывали третьего — ну как, будет ли он с нами? Эти двое давно были заодно, и хотя третий тоже был одного с ними поля ягода, однако бывали моменты, когда они расходились, — нередко на годы, хотя для веков это те же моменты, — одним словом, они расходились, и случалось это тогда, когда для одного из них наступала пора самодовольства. А вот как теперь будет с Бибо?

— Я уже перестал что-либо понимать, — сокрушенным тоном говорит Геди. — Выходит, ни талант, ни заслуги больше ни во что не ставятся... А идейный замысел?! Нет, ничего не понимаю!..

— А я, признаться, решил другое, — изрекает Нестор, пряча от солнца лицо, чтоб на нем не прочли лицемерия, — я подумал было: не иначе как хочешь своего ученика показать, потому и уступил ему место. Ведь для тебя-то это не имеет значения, твое яркое искусство так или иначе привлечет к себе внимание... А оно, оказывается, вон оно как!..

— Нет, вы только подумайте, что происходит! — Геди вплотную придвигает свой стул к столу и наваливается на стол локтями. — Тут кто-то ловко копает исподтишка — хотят возродить формалистскую школу, прикрываются лозунгами о воспитании и выдвигении молодых, а сами тем временем захватывают позиции.

— Да ну, что ты! — отмахивается Бибо. — Кто же осмелится на такое!

— Тот, кто знает о твоей такой уверенности, — отрезает Геди. — И Нестор точно так же мыслит, и я, а уж коли мы, средоточие искусства, не принимаем важности происходящего и не противоборствуем ему, то ему больше и опасаться некого.

— Кому это «ему»? — недоуменно улыбается Бибо. — Нужно же из пальца высосать!

— Ничего я не «высосал», — убежденно заявляет Геннадий, едва сдерживая волнение, — я это знаю как свои пять пальцев, — и он растопырил пальцы. Бибо смотрит на его ладонь, и неприятное чувство подкрадывается к





его сердцу, ему кажется, что он впервые видит столько непонятных линий на ладони. Но, может, это только у Геннадия такая ладонь? Жаль, не знает он хитрости романти, вот бы сейчас пригодилось.

— Только было бы лучше, — продолжает Геннадий, — если бы и ты это понял, потому что если на этот раз тебя закинули в какой-то закуток, то в следующий раз и близко не подпустят к выставке.

— Да ну тебя! — Бибо и слышать об этом не хочет.

— Со мной именно так и сделали.

— Помилуй, но ты ведь ничего не представил?

— А Нестор разве не представил?

— Нестору дали дельный совет...

— Ха-ха-ха!..

— Камерун купит его скульптуру!..

— Ну, положим, вы уж через край хватили! — обидчиво возражает Нестор.

— Ну и жди тогда! — Геннадий наливает себе вина и торопливо пьет. Бибо хочет разрядить обстановку:

— Как же это так — ни тамады, ни тостов!..

— Да брось ты! — огрызается Геди. — Кому это нужно?

— Никому, просто добрая традиция!

— Знаешь, милый мой, меня уже от всего тошнит, а тем более от традиций!

— Но хорошие традиции...

— Какие там «хорошие традиции»? — злится Геннадий. — Кому теперь до них? Где уважение к старшим?

— Не надо делать общих выводов из единичного, — едко улыбаясь, говорит Нестор. — Всякое зло начинается с единичного случая. Один, два, а там и пошло, разрастается так, что и глазом моргнуть не успеешь... Вот так, потихонечку-полегонечку и прокрадывается вся эта модернистская мазня. И вот уже для нас не находится места.

Геди помолчал, поглядел на одного, потом на другого и желчно выпалил:

— Это для вас нет места, а со мной, дорогие мои, шутки плохи!

— Да и со мной тоже лучше не тягаться! — самоуверенно произнес Нестор.

— А уж тем более со мной! — вставил Бибо.

— Тогда, значит, выходит, что все в порядке? Мир и благодать! Ну так сложим руки, чтоб они еще больше подняли голову. Но кто, — постепенно входил в раж Геннадий, — кто дал нам право на это? Мы же не сапожники и не парикмахеры? Неужели нас должно волновать только наше собственное творчество? Мы же художники, и именно мы, а не кто другой, должны отвечать за судьбы своих собратьев! Мы основоположники единства формы и содержания в скульптуре, и мы обязаны защищать это единство, поэтому наш долг приостановить эти гнусные формалистские потуги. И нечего ждать, что кто-то сделает это за нас!

— Формализм — это еще не самое страшное, — поддерживает Геннадий Нестор. — Существует другая опасность: я слышал, что некто работает над скульптурой царицы Тамар. Этот некто представил также и эскиз фигуры Давида Строителя... Вы чувствуете? Ведь мы могли же сделать все это сами!

— Любопытно! А эскиза царя Парнаоза никто не представил? — насмешливо фыркнул Геннадий. — А может, и питиахши ждут, чтобы их поставили на всем пути от Мцхета до Тбилиси? А Аэт как же? Неужели его никто не вылезил?! — Геди сжал кулаки: — Что происходит?! Куда мы катимся?! Это называется брести вслепую!

Нестор на это ничего не сказал; он только ответил на предыдущий вопрос.

Перевод Лили БААЗОВОЙ

*Продолжение следует*





# Желание



## Р а с с к а з

**Б**ЫЛО утро — весеннее, свежее, бодрое. Воздух — чист и прозрачен. Я стоял на полянке, усыпанной цветами, под вековой, засохшей липой и всматривался вдаль. На небосклоне рос странный вихрь — легкий, переливающийся всеми цветами радуги. Кружась, словно в веселом танце, вихрь быстро приближался. Вдруг он превратился в нежнейшее, изумительной красоты покрывало, и оно обвилось вокруг старой липы. То, что затем произошло, не было чудом. Было бы чудом, если б этого не произошло: дерево ожило, вздохнуло, зашумело свежей зеленой листвой. А радужное покрывало обернулось огромной пестрой бабочкой и взлетело на самую верхушку липы.

— Спустись вниз! — попросил я.

Бабочка, порхая по веткам, опустилась на землю и предстала передо мной синюшкой, розовощекой, златокудрой девочкой в цветастом платьице.

Девочка взглянула на меня и восхитительно улыбнулась. Было ей лет семь-восемь.

— Здравствуй! — прошептал я, холодея при мысли, что это чудное видение вдруг может исчезнуть.

— Здравствуйте!

Ответ девочки проник в мое сознание как чарующая музыкальная фраза, как отрывок какой-то неземной, сказочной песни. И так длилось потом, во время всей нашей беседы.

— Ты — радуга?

— Нет.

— Весна?

— Нет.

— Как звать тебя?

Девочка произнесла странное, незнакомое и непонятное для меня слово, — я его не запомнил.

— Кто же ты?

— Я — это все.

— Как — все?

— Так. — Девочка удивилась моей недогадливости.

У меня мелькнуло страшное подозрение.

— Ты... ты прилетела с другой планеты? — спросил я и застыл в ожидании ответа.

Девочка кивнула головой. Я прикусил губу и, почувствовав во рту соленый вкус крови, понял, что все происходящее не мерещится мне.

— А как называется твоя планета?

Девочка произнесла странное, незнакомое и непонятное для меня слово, — я его не запомнил.



— Какова ваша планета?  
Девочка пожала плечами.  
— Ну... Как тебе объяснить... Что там, на вашей планете — горы, долины? Холодно у вас или жарко? Одним словом, какая она?  
— Такая, как я.  
— Прозрачная, бесплотная, многоцветная?  
Девочка улыбнулась и кивнула головой в знак согласия.  
— А далеко она?  
Девочка не поняла смысла слова «далеко». Я простер руку к небу и произнес:

— Далеко-о-о, далеко-о-о...  
— Далеко-о-о... — повторила девочка.  
— Кто тебя научил нашему языку? — продолжал я.  
— Я сейчас учусь, — ответила она.  
— А ваш язык каков?  
Девочка раскрыла свой пунцовый ротик и... Все вокруг запело. Пели земля и воздух, цветы и деревья, пела помолодевшая липа... И я, словно рыба в аквариуме, плавал в этом странном царстве сладчайших звуков музыки... Так длилось с минуту.

— Это — ваш язык?  
— Да. Он тебе нравится?  
— И ты думаешь, что он может быть понятным для всех?  
— Конечно!  
— Каким образом?  
Девочка запела вновь. Теперь она рукой указывала на окружающие нас предметы, и название каждого из них звучало в песне своей особой мелодией, не нарушая, однако, общей гармонии. Меня охватило блаженство, равного которому я не испытывал никогда в жизни. И будь я уверен, что оно будет без конца продолжаться после моей смерти, я, не раздумывая, пожелал бы мгновенной смерти.

Поняв мое состояние, девочка умолкла.  
— Подойди ко мне! — попросил я.  
Девочка приблизилась.  
— Еще ближе. Я хочу обнять тебя. Можно?  
Девочка подошла ко мне вплотную. Я раскрыл объятия, прижал ее к груди и вдруг почувствовал, как тело этого неземного создания растворилось во мне, наполнив мое сердце теплом и радостью.  
— Девочка, где ты? — воскликнул я, ощущая пустоту в груди, как это бывает с детьми на качелях.

Девочка стояла передо мной и улыбалась.  
— Как ты здесь очутилась, девочка?  
— Сбежала от мамы.  
— И ты не боишься?  
— Боюсь? Чего мне бояться?  
— А если ты... А если мама не сможет найти тебя?  
— Как только захочет, она найдет меня!  
— А если ты сама захочешь домой, к маме?  
— Я пожелаю это и окажусь дома.

Я понял все, и я не понял ничего... Категории «как», «почему» потеряли всякий смысл... В этом милом ребенке странно, непостижимо для меня совмещались простейшие и сложнейшие понятия...

— На нашей земле ты впервые?  
— Впервые.  
— А на других планетах?  
Девочка кивнула головой.  
— И ты встречала жизнь на других планетах?  
— На очень многих.  
— Какую? Подобную нашей?  
— Разную.  
— А все же?  
— Я не знаю, как это выразить... Я сама становлюсь такой, как все те, что встречают меня на чужих планетах...

Наступило молчание.  
— А ты кто? — спросила вдруг девочка.  
Вопрос был настолько неожиданным, что я растерялся.  
— Ты... Ты не знаешь, кто я?  
— Не знаю!  
— Я — человек... Питаюсь мясом, растениями, водой, дышу воздухом, живу солнцем...





— А сам? Сам ты кто такой?

— Я же сказал — человек. У меня были родители, у них — свои родители, у тех — свои, и так далее...

— А кто были самые первые родители?

— Этого я не знаю.

— Значит, ты не знаешь, кто ты?

— Мм... Не знаю...

— Что ты тут делаешь?

— Здесь? Ничего особенного... Стою вот, дышу воздухом... Я болен. Ты знаешь, что значит «болезнь»? Каждое утро я прихожу сюда, на эту полянку, чтобы насмотреться на красивые цветы, надышаться свежим воздухом, чтобы вернуть моему телу свежесть, как вернула ты свежесть вот этой старой листве.

— А что с тобой? — спросила девочка озабоченно.

— Я перенес тяжелую болезнь сердца. Ты знаешь, что это такое — сердце?

— Нет.

— У каждого человека есть сердце. Без сердца человек не может жить. И вот несколько лет тому назад мое сердце дало трещину... Вот погляди!

Девочка своей нежной розовой ручкой дотронулась до моего сердца, и я почувствовал приятное, живительное тепло.

— Да... Теперь я хожу сюда, вдыхаю аромат цветов... Сейчас мне немного лучше, но возвратится ли моему сердцу прежняя сила?

Девочка промолчала.

— А вы не болеете? — спросил я.

— Как же, болеем.

— В чем заключается ваша болезнь?

— Мы бледнеем, теряем красивую окраску.

— Как же вы лечитесь?

— Мы передаем свои цвета друг другу. Мы, как бы это сказать... Переблещаемся друг в друга, переходя из одного цвета в другой, дарим друг другу вечное цветенье... Название нашей планеты на вашем языке прозвучало бы примерно так — планета вечного цвета... Хорошо?

— Чудесно!

Глаза у девочки засияли от удовольствия.

Вдруг поляна вздрогнула. Цветы поблекли. Лига вспыхнула пурпурным свечением. На небосклоне засверкали огненные всполохи. Издалека на нас надвигалось нечто вроде северного сияния.

— Моя мама! — воскликнула девочка.

И тотчас все вокруг утонуло в чарующих звуках чудесной, неземной симфонии эфира. Описать ее — невозможно. Мне казалось, что каждый венчик измириад цветов, усыпавших поляну, превратился в своеобразный музыкальный инструмент, издающий неповторимые, нежные, хватающие за душу звуки. Это был великий гимн природы, это была великая песнь Вселенной, это было слияние душ двух жителей планеты вечного цвета — матери и дочери... Я не помню, как долго длилось это сказочное очарование... Когда я очнулся, передо мной стояла улыбающаяся девочка.

— Прощай, человек! — сказала она.

— Уходишь? — спросил я упавшим голосом.

— Должна идти. Мама зовет.

— Возьми меня с собой, милая девочка! Возьми, умоляю тебя!

— Ты покинешь свой дом? — удивилась девочка.

— Если моему сердцу не суждено исцелиться, если меня ждут смерть и разложение, не все ли мне равно? Я боюсь смерти... Возьми меня с собой, даруй мне твой цвет, твою прозрачность, твою бессмертие... Возьми!

Я опустился перед девочкой на колени.

— Но я не могу взять тебя с собой, человек! — девочка с сожалением развела руками.

— Почему?

— Потому что ты — существо плотское. Ты должен стать цветом, желанием, и тогда я смогу пожелать тебя... И взять тебя к себе...

— Так пожелай!

— Как? Ведь я здесь, с тобой!

— Возвращайся к себе, в свою страну вечного цвета, и там пожелай меня!

— Но для этого ты сам должен превратиться в цвет, в желание!

— Когда же, когда?!

— Это должна решить твоя мать — твоя Земля.

— И после этого?..

— После этого я пожелаю тебя.

— Спасибо!





Я встал.

— Обними меня еще раз!

Она подошла. Я раскрыл объятия, прижал ее к груди и снова почувствовал, как тело этого неземного создания растворилось во мне, наполнив мое сердце теплом и радостью. Потом она покинула меня, и тут же острая боль пронзила мое сердце. Я вздрогнул.

— Что с тобой? — спросила девочка, и мне показалось, что она почувствовала мою боль.

— Ничего, моя хорошая! До свидания!

— Прощай, человек! — девочка помахала рукой.

...Потом все повторилось, но в обратной последовательности. Девочка обернулась огромной пестрой бабочкой, потом бабочка превратилась в нежнейшее, изумительной красоты покрывало, потом покрывало закрутилось, словно в веселом танце, и стало быстро удаляться, потом на далеком небосклоне образовался легкий, переливающийся всеми цветами радуги вихрь, и, наконец, все исчезло. Остались лишь воспоминания о неповторимом, сказочном сне, о чудесной, захватывающей душу симфонии эфира и — как свидетельство всего происшедшего — эта помолодевшая, зеленеющая свежей листвой липа...

Я закончил свой рассказ. Старшая дочь окинула взглядом — от корней до макушки — нашу красавицу липу и недверчиво спросила:

— И ты действительно видел эту липу высохшей и больной?

— Видел.

— А что было потом? — спросила младшая, облизывая пересохшие от волнения губы.

— Три дня и три ночи я лежал здесь, на этой поляне, и вслушивался в ту странную песнь цветов... Я и сейчас слышу ее, эту мелодию... А вы?

Дети прислушались, потом отрицательно покачали головами.

— А ну, ложитесь на землю и вслушайтесь внимательно!

Девочки легли, закрыли глаза и минут пять лежали, не шелохнувшись, не издавая ни звука.

— Ну как, слышите?

— Нет! — ответила младшая.

— Слышу, но очень, очень слабо, — сказала старшая.

— Это ничего, что слабо. Главное, что слышишь!

— А кто-нибудь, кроме тебя, видел ту девочку? — спросила старшая.

— Нет, представь себе, никто! Хотя я расспрашивал многих... Никто ее не видел, и верить мне никто не верит!

— А мама? — спросила младшая.

— Что — мама?

— Мама верит?

— Нет.

— Что она говорит?

— Говорит, что я тронулся... Вам она тоже сказала?

Девочки опустили головы.

Дети переглянулись, потом кивнули головой, но промолчали.

— Ты не закончил... Что было дальше? — нарушила молчание старшая дочь.

— Ничего... С тех пор я каждое лето, почти каждый день прихожу сюда, становлюсь под этой липой и жду... Жду, когда у моей маленькой подруги появится желание увидеть меня, когда она явится мне в виде семницветного вихря и возьмет меня с собой.

Молчание длилось нестерпимо долго.

— Явится и возьмет тебя с собой... — прошептала наконец старшая.

— А мы? — спросила младшая.

— Что — вы?

— Что же мы будем делать без тебя? — Глаза девочки наполнились слезами, и подбородок задрожал.

Под левым соском я почувствовал жжение. Я подошел к девочке, обнял ее и крепко прижал к груди. Я почувствовал, как тело этого дорогого мне создания растворилось во мне и наполнило мое сердце теплом и радостью.

Перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ





# Товарищ?

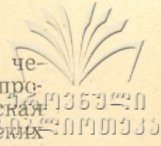
## Р а с с к а з

**К**ОЛЕСА стучат, вагон мчится будто легкой, еле заметной присядкой. Где-то, около окна пульмана, нудно, назойливо жужжит отпущенная гайка. Ее надоедливое жужжание временами перекрывает пронзительный гудок паровоза. Гудок лучше той гаечной суеты — он хоть временно, а все-таки бодрит дорогой затуманенное сознание, рассеивает мысли, навязчиво бродящие в памяти. Нет хуже ночных дум, бесконечных, мрачных, тем более, если они, эти думы, гложут восемнадцатилетнего парня, впервые оторванного от родного очага, если они упрямо терзают его на верхней полке пульмановского вагона, который его, вместе с сорока другими призывниками, с легкостью уносит в неизвестность. Сорок парней — надежда, опора и будущее, а вагонная верхняя полка, над ней миновавшим дневным солнцепеком раскаленная крыша, через окошко высматриваемое звездное небо с бродячей луной будоражат тоскующую душу, и как утешение искрится в нем сознание того, что эти же звезды, эта же луна так же ласково освещают далеко оставшийся его родной город, маленький переулок около бани, втиснутый в этот переулок домик и двухкомнатную отчужденную квартиру на третьем этаже...

Было бы легче, если бы там, дома, бодрствовала мать, думая о сыне, который, связанный с ней невидимыми нитями, обязательно чувствовал бы ободряющие его материнские думы. И действительно, человек, мал или стар он, устроен так, что при первой же боли, духовной или физической, вмиг обращается к матери или вспоминает ее — находится ли она рядом или далеко от него, жива ли она или давно ушла из жизни этой, даже если он вовсе не помнит из-за ранней потери ее. И вспомнит он в беде мать свою даже в том редком случае, если она — мать, недостойная материнства, — бросила его, убежала от него из-за трудностей или личного благополучия — мнимого, ибо нет счастья для матери, разлученной со своей кровью и плотью... Человек так устроен от роду, что в тяжелые минуты жизни он прощает своему родителю то, чего не простил бы чужому ни за что, поймет, оправдает своего, не поняв и осудив другого. Мать! Единственное существо на свете, в котором постоянно горит вечно немеркнущий огонь любви к плоти от плоти своей, разжигаемый или притушиваемый жизнью, человеческими отношениями...

По-прежнему постукивают на стыках рельсов колеса, вагон слегка приседает в своем неудержимом стремлении вперед, звезды мерцают в окне пульмана, гайка назойливо жужжит. Бессонница упрямо навязывает мысли, одна за другой витают в сознании картины и события вчерашнего дня, полные новизны и неизвестности... Райвоенкомат... Неровный строй... Баня... Спрессованная после дезинфекции одежда... Опять строй... Топающие рядом провожающие со свертками, пакетами, цветами... Матери со слезами на глазах... Матери... Матери... И отцы тоже, и братья и сестры, и товарищи, и подруги, и любимые. Испытания разлуки, времени, безусловно, выдержат и первые, и вторые, и третьи, и четвертые... Остальные? Уж очень беспощадная штука время! Беспощадная, но великодушная и правдивая в своей беспощадности, ибо горькая правда дороже сладкой лжи. Время учит человека, открывает ему на многое глаза, объясняет ключевые мудрости жизни для познания правды, для отличения бело-





го от черного, добра от зла, и в учении этом суровом оно не будет щадить человека, ибо жалость — это самое страшное унижение... Чем больше оно, прошедшее время, тем больше просвещается разум, развенчается человеческая фальшь, все показное, временное, шаткое. Оно и лечит душу нашу от житейских недугов, и закаляет ее в переживаниях и страданиях, которые есть постоянные спутники мыслящего существа, по своим местам расставляет, а затем перемалывает добро и зло, без чего не бывает жизни, ибо она, сама жизнь, есть мельница добра и зла, столь долгая вращающаяся в нашем кратковременном гостевании на земле, в столь длинном кажущемся мгновении.

Колеса стучат, вагон приседает на стыках рельсов, звезды постепенно тают в окне пультмана.

Вдруг прекращается все: и стук, и жужжание...

Остановились. Начальство разрешило выйти из вагонов, и большинство призывников высыпало на перрон — одни умываться, другие по нужде; некоторые же предпочли переменить бок и продолжили сон — вольному воля.

Нас было пятеро, школу кончали вместе и вместе же уходили в армию: Дато — «Клопик», Отар — «Брак», Валико — «Пустик», Како — «Ворона» и я — Зураб. Не знаю почему, но случилось так, что клички мне не дали, а это в пору наших детских лет было в нашем городе редкостью.

Дверь нашего пультмана тоже откатилась с грохотом, и старшина Иванов снизу крикнул в вагон:

— А ну, выходи, прогуляйся, воздухом поглотни! Час стоять будем.

Отар, лежавший справа от меня, приподнялся на локте и, протерев глаза, спросил у старшины:

— Что за станция?

— Баладжары, предместье Баку, — ответил старшина и прикурнул у одного из ребят папиросу.

— Давай спустимся, Зураб, освежимся. Как спалось?

— Почти не спал, — ответил я, обрадовавшись голосу друга.

— А что случилось?

— Не знаю, думы одолевали всю ночь. У меня всегда так, не сплю на непривычном месте. Даже в деревне, когда приезжал к бабушке на летние каникулы, первую ночь всегда мучился. Ничего, сегодня посплю.

— Закурим?

— Был у нас один сосед, дядя Геронтий, он недавно скончался. — начал я вполголоса, дабы не разбудить все еще храпевших ребят. — Однажды, как раз за неделю до его смерти, ранним утром я стоял в очереди за хлебом и, пользуясь тем, что из моих близких никого рядом не было, спокойно дымил папиросой. В это время в пекарню вошел дядя Геронтий. А я стою и в ус не дую, хотя... Говоря по правде, сердце у меня чуть екнуло. Увидев меня, он один глаз прищурил, улыбнулся губами, не то чтобы для себя, нет, именно мне улыбнулся, и обратился как к равному: «Что, курить начал? Не советую. Мы, молодые, это пагубное дело увязываем с независимостью и возмужанием, мол, и мы сами с усами. Конечно, воля твоя, только не забудь одно — никогда не кури натошак. Желудок пустой, ждет пищи с нетерпением, а ты ему — никотин, и моментально ссысаешь и начинаешь день вялым». И правда, я убедился, что, покурив натошак, потом целый день чувствую себя не в своей тарелке — и ноги не те, и голова как в тумане. Потому-то совет дяди Геронтия я возвел для себя в закон.

— Это, между прочим, мне тоже говорила «Перец», наша химичка. Правильно, натошак нельзя курить. Тогда выйдем, умоемся и зараз позавтракаем.

— А мальчики?

— Эти еще долго будут валяться на нарах.

— Здравствуйте, я ваша тетя! — воскликнул Дато и вмиг вскочил...

Мы вышли впятером.

Баладжары чем-то напоминали нашу старую станцию Навтлуги, лишь с той разницей, что пути были переполнены составами цистерн с бензином и нефтью и было очень уж пустынно, во всяком случае в ту пору, в 1939 году, когда поезда, шедшие из Тбилиси в центр нашей страны, проходили через Баку, а сухумская железнодорожная линия дотягивалась только до Келасури.

Мы пролезли под составами и рядом с маленькой станцией обнаружили кран, около которого уже толпились ребята из нашего эшелона, дожидаясь своей очереди. Стоял гул, гул голосов пока еще необузданных молодых.

Мы умылись, привели себя в порядок. Из штабелем сложенных ящиков взяли один, перевернули и на нем разложили часть провизии, прихваченной из дому. На скорую руку разложенный завтрак, да еще на воздухе, особенно вкусен. Дато пригнул бочонок с остатками маджари, и каждый выпил по стакану. Заметив старшину, он с особым усердием призывника наполнил граненый стакан.



— А ну, ребята, без выпивки!  
— Какая там выпивка, товарищ старшина, лимонад настоящий, — ответил Дато и протянул ему стакан. — Попробуйте. Извините, но это все, последнее. Старшина взял стакан у Дато и, залпом опорожнив его, болезненно сморщился от неприятной неожиданности.

— Фу, это действительно лимонад! — сказал он несколько смущенно и, прихватив сваренное вкрутую яйцо, удалился.

Завтрак мы закончили без лишних слов, без шуток, затем, аккуратно сложив остатки завтрака, медленным шагом направились к нашему эшелону.

Не успел я пролезть под первым составом цистерн, как кто-то окликнул меня по имени. Я обернулся и...

— Ты! Откуда, Саак?

— Оттуда же, — ответил он, и мы обнялись.

Мы стояли между двумя составами, на узкой полосе, усыпанной почерневшим от мазута гравием.

— В каком ты вагоне? — спросил он после некоторого молчания.

— В седьмом.

— А я в восьмом. Слушай, бабуся-то твоя как тебя отпустила?

— Она году два как умерла, — ответил я какой-то легкой скороговоркой, будто сообщал ему радостную новость; ответил и осекся, как бы неловкость перед бабушкой почувствовал за ту легкость, с которой заговорил о ее смерти, за поддержание тона иронии, с какой он ее упомянул, дав мне понять, что он слышал несколько лет назад происшедший между мною и ею разговор, чего я так стеснялся и о чем Саак никогда и виду не подавал.

\* \* \*

Бабушка моя в прошлом была попадшей. Она любила вкусно поесть, обожа-ла сласти и в то же время, строго соблюдая пост, теоретически обосновывала его необходимость. Как-то она сказала — соблюдением поста и тело оберегаешь от перегрузки, и живность бережешь от истребления в пору ее размножения.

Маленькая, энергичная женщина, никогда не знавшая недугов старости, была довольно своей жизнью — дедушка мой на руках носил ее, мать его шестерых детей, затем подростки дети старались всячески облагодетельствовать ее своим вниманием и обхождением. Особенно отличался в этом отношении мой отец, ее младший сын, молодым оставшийся без жены, с малолетним сыном — мною — на руках...

Трудолюбие свое она оставляла в деревне и, приехав поздно осенью в город, прирученная амилахварским дворянским помещиком, с радостью отдавалась гостеванию, редко оставляя меня на попечение своей молодой племянницы — сиротки Эко, нашедшей приют в нашем доме и заменившей мне мать. Бабушка же часто ходила в семью бывших князей, бывшей духовной знати, к тентам старого света, к которому сама тоже принадлежала. Там пили чай, играли в карты, в лото.

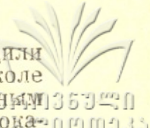
Прошло время, я подросток, и те семьи или незаметно исчезли, или же вовсе потеряли охоту к картам и чаепитиям. Я стал пионером и не только вместе с бабушкой в гости перестал ходить, но даже беседа с ней часто перерастала в спор бабушки и внука, хотя я ее по-прежнему любил за ее ласку, сказки, чурчелы и вечное заступничество во всех случаях — был я прав или нет.

С наступлением весны она незамедлительно уезжала в деревню и в весенние каникулы встречала нас там, а уж о летних, во время которых заботу о нас, обо мне и моих двух двоюродных братьях, целиком брала на себя, и говорить нечего. Особенно любила она деревенских соседок, которые души в ней не чаяли за ее внимательность, добрые и разумные советы, сочувствие в беде и за все те человеческие черты, которые редко бывают у людей с благополучной жизнью.

Зато бабушка трудно находила общий язык с городскими соседями, хотя к этому сама и не стремилась, считая их — горожан — лицемерными. Ближе всех она была с матерью Саака, с Вартануш, хотя эта близость тоже была ограничена ее услужливостью и бабушкиной добротой к ней.

Рано овдовевшая тридцатилетняя Вартануш с четырьмя сиротками с трудом перебивалась — где-то уборщицей работала, утром и вечером ходила на два часа, остальное же время она помогала тем, кто просил ее помощи, — соседям по двору и по улице: одним белье стирала, другим гладила, третьим в уборке квартиры подсобляла, на базар ходила с поручениями и шитьем занималась. Бабушка тоже частенько давала ей поручения, в основном за покупками посылала, ибо купленное соседкой все по вкусу было ей — тетя Вартануш действительно умела покупать как по цене, так и по вкусу. Если бабушка что-то занимала у нее, отдавала вдвойне. Сдачу у нее не брала, дарила мою обувь и одежду, не давая мне превращать их в старье.





Саак — ее старший сын — был на два года старше меня. Оба мы ходили в одну школу, грузинскую, только он был на класс старше меня. В школе Саак покровительствовал мне по праву старшинства, а во дворе считал равным во всем. Смышленный парень и на все руки мастер, он делал хорошие самодельные футбольные мячи; за что он ни брался, все у него получалось, а потому особой любовью пользовался он среди детворы, тем более, что отличался скромностью и добротой.

Однажды, в воскресный день, — в ту пору пятидневки были и воскресным называли выходной день — нас, уставших от игры в футбол трюх мальчишек, тетя Вартануш завела в свою полуподвальную, опрятно убранную комнату и перед каждым поставила по миске лобно и бутылке лагидзевского лимонада, нарезала капуста, заправленной с бураком. Два младших брата Саака и двухлетняя Ноночка рядом сидели на тахте, с детским благоговением наблюдая за трапезой дружок старшего брата.

— Кушайте, детки, кушайте, вкусное лобно, потом и толму дам, — сказала тетя Вартануш и каждого погладила по головке, а меня даже потрепала по щеке. Лобно я не особенно любил, но в тот день с таким наслаждением вылизал миску, что чуть на добавку не попросил; с тех пор лобно во всех видах стало моим любимым блюдом.

Окончив трапезу, все поочередно поблагодарили тетю Вартануш и собрались выйти во двор. Тетя Вартануш придержала меня чуть заметным прикосновением к плечу и, когда ребята вышли, тихонько сказала:

— Вот-вот дядя Лева должен подъехать, Саака куда-то берет. Оставайся, тебя тоже возьмет.

— На своей машине?

— Наверное.

Дядя Саака — Левон — водителем работал у какого-то большого человека и ездил на очень красивом, длинном «форде» с тентом. Две никелированные фары ослепительно блестели, около соединения крыльев и подножек с обеих сторон были прикреплены запасные колеса, тоже украшенные никелированными колпаками, а прикрепленный с левой стороны замысловатый резиновый сигнал с никелированной трубой окончательно зачаровывал тбилисцев тридцатых годов.

Не прошло и пяти минут, как в комнату вошел дядя Лева в кожаном пальто и хромовых сапогах с четырехугольными носками и белым рантом. На голове у него была кожаная фуражка с красной звездочкой над козырьком. Он тащил полный мешок.

— Здравствуй, Вартануш, как живешь? — произнес он с ходу, опуская мешок на пол; затем снял фуражку и пожелтевшим платком сперва вытер лоб, а затем внутреннюю сторону фуражки. — В Воронцовке был и два мешка картошки взял. Один у нас оставил, другой вам принес. Пока хватит, а там что-нибудь еще появится. Саак, выйди, в машине головка бараньего сыра лежит, принеси. Хороший сыр, немножко для наших отрезал, а вам больше принес.

— Спасибо, деверь, дай бог долго тебе жить на радость моим сироткам, — сказала ободренная его заботой хозяйка и начала суетиться у стола. — Хорошее лобно есть у меня, толму приготовила в виноградных листьях, бутылка «Саперави» тоже припрятана...

— Спасибо, ничего не хочу, только что обедал. Хочу парня взять, Метехи показать.

После смерти отца Саака прошло около трех лет. За все это время его старший брат преданно заботился о его семье и все, что доставал, пополам делил.

— Не сердись, деверь, но... не пойму, на что сдалась детям тюрьма?

— Как это на что! Там сейчас музей открыли, поеду, покажу. Пусть мальчик знает, какие муки пережили тбилиские революционеры; молодым хорошо знать, что пережили их отцы и деды, больше уважать старших будут. Кто прошлое не ценит, к настоящему вкус теряет, а будущего вовсе не поймет. — Потом он обернулся ко мне. — Как вытянулся! Хочешь, тебя тоже возьму?

Я слегка замешкался и, опустив голову, пуговицу от сорочки оттянул изгрызанными ногтями, правую ногу набок вывернул и хотел что-то промямлить, и тут тетя Вартануш пришла мне на помощь.

— Как это не хочет, он что — не парень? Когда твою машину видит, глаза искрятся. Сынок, не поленись, подымись к ним, скажи, дядя Лева на прогулку, мол, берет, но тюрьму не упоминай, испугаются.

Через пять минут я и Саак горделиво восседали рядом с дядей Левой, тарраца глаза по сторонам — горели желанием, чтобы знакомый кто-нибудь увидел, — будто полгорода кто-то подарил, как в сказке, а Саак вдвое был счастлив — за меня радовался и за себя гордился, хотя виду не подавал и меньше меня вертелся на сиденье «форда».



341136930  
1933

Проехали мимо Солдатского рынка, Мухранский мост переехали, поднялись на Цициановский подъем и на Авлабаре завернули вправо, затем съехали по крутому спуску и в каком-то узком переулке остановились.

— Машину здесь поставим, а сами пешком пойдем, — сказал дядя Лева.

Мы вошли в тяжелые, обитые железом ворота, поднялись по кирпичной лестнице, открыли внутрь какую-то железную дверь и оказались в лабиринте застенков.

— В этой камере мой хозяин сидел. Саак, ну-ка прочитай вслух, что там на стене написано, а то темноватое, не вижу, — сказал дядя Лева Сааку, от которого я знал, что дядя был неграмотный.

— «Не забуду мат родную», — прочел Саак.

— Нет, не это, вот это, это читай, — ткнул дядя Лева пальцем в грузинскую надпись, аккуратно выведенную на сырой штукатурке стены.

«Впервые в этой камере познал, что значит для человека свобода. Тюрьма ликвидирует слабых, сильных закаляет, революция же нуждается только в закаленных!»

— А ну, вот это!

«Завтра высылают на каторгу. Не знаю, вернусь ли оттуда, только, если вернусь, без всяких колебаний отдам жизнь ради того, из-за чего меня в кандалах высылают с любимой родины!»

Когда мы возвращались домой, «форд» уже ничего не значил для меня, он потерял блеск — одиннадцатилетний мальчишка досадовал об одном: почему больше не было революции, чтобы тоже проявить себя в борьбе за справедливость.

С Сааком я расстался во дворе, у лестницы — для того, чтобы попасть к себе, он должен был пройти по двору под нашим длинным балконом, я же через балкон должен был войти в дом. Только я на балкон поднялся, как в сумерках заметил парадные лечаки и чихтикопи<sup>1</sup> бабушки, которая, грозно восседавая на вынесенном из дома стуле, лихо перебирала янтарные четки, тем самым сдерживая попадьевский гнев. Как только она меня заметила, напустилась с громкой бранью.

— Где ты шатаешься, окаянный мальчишка! За целый день издергалась в ожидании... То одно несчастье представила, то другое! Твой отец тоже хорош, и в ус не дул, повернулся и в прожектор ушел, а я чуть ноги не протянула, — причитала во весь голос бабушка.

— Саак ведь предупредил тебя, что мы гулять поехали, — оплошал я, упомянув в эту минуту Саака, и чуть язык не прикусил.

— Я тебе покажу Саака. Чтоб мои глаза больше не видели этого ублюдка! — И пошла брань изысканная, попадьевская, с примесью княжеской, не знающая границ в подборе слов и выражений. Меня будто ошпарили, в ушах будто барабанный треск поднялся. Я лютой ненавистью возненавидел тех, кто ее породил. И все-таки сообразил — желая заманить ее в дом, дабы приглушить тираду несправедливостей, — незамедлительно ворвался в комнату. Однако бабушка с места не тронулась и не остановилась до тех пор, пока не устала... Она была энергичной женщиной!

Этот день навсегда запомнился мне — он был для меня первым днем познания счастья и несчастья. Счастлив я был тем, что впервые понял всю прелесть благородства служения народу, а несчастье пришло ко мне с сознанием горечи национального недолюбования, которая навсегда осталась во мне как едкий плод тупости и бездушия. В тот день возненавидел я бабушкины лечаки и чихтикопи, ее янтарные четки, карты и лото. С детской ненавистью стал презирать ее друзей и чуть ли не саму... бабушку. Ее причитания навечно остались в моей душе как язвы, подлежащие лечению продолжительному, упорному, а если они не поддадутся лечению, то беспощадно и неотлагательно нужно вырезать их с корнями.

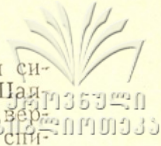
Одно время я избегал встреч с Сааком — стыдился взглянуть ему в глаза, потом двор и футбол помогли, тем более в самом парне я ничего не замечал, что и внушило мне мысль о том, что он в тот вечер вовремя зашел к себе и бабушкиных изречений не слышал... Не прошло и полгода, как мы переехали на новую квартиру, в другом конце города... а сегодня я впервые встретил его после долгой разлуки.

\* \* \*

Не стучали более колеса, вагон перестал приседать, и гайка умолкла будто... Человек привывает ко всему. На нижней полке умеючи, по-восточному пристроился наш сверстник, сын какого-то известного фокусника, и дивил нас своим мастерством и ловкостью.

<sup>1</sup> Лечаки и чихтикопи — старинные грузинские женские головные уборы.





— Вот это три шапки, хорошо их проверьте, — протянул он шапки сидевшим напротив него на корточках парням, в числе которых я тоже был. Шапки мы внимательно осмотрели и, не обнаружив в них ничего особенного, вернули обратно, не сводя с молодого дервиша глаз. — Сейчас дайте коробку спичек. — Дато кинул ему коробок. — Эту спичку положим под эту шапку, — заговорил он на ломаном грузинском, ибо его отец с семьей разъезжал по всей стране, а потом тбилисский парень с Авлабара плохо говорил по-грузински. — Сейчас ты, да, ты, — обратился он ко мне, — эту коробку положи под любую из этих трех шапок. — Я взял коробок и положил его под шапку, крайнюю справа от нас. Фокусник, которого все звали Колей, все три шапки вывернул на наших глазах, потом показал вывернутые подкладки притаившим дыхание зрителям; затем вернул им прежнюю форму и положил обратно, одной из них он прикрыл коробку, поднял глаза вверх, понюгал в воздухе пальцами, будто вымытые руки сушил, бормоча что-то несурзное на языке факиров, а потом легким прикосновением двух пальцев, чтобы никто не усомнился в том, что вместе с шапкой он прихватил и коробку, приподнял шапку, под которой лежали опилки... Но их там уже не было! Затем, обращаясь ко мне, он спросил, под какой шапкой я пожелаю видеть коробку; я указал на среднюю. Он приподнял ее и... спички оказались там! У «Брака» чуть не вывалились выпученные глаза — рот приоткрылся и высунулся кончик языка, а в уголках губ за сверкала слюна. Дато же, почесав голову, покосился на меня... И вдруг... вагон взорвался аплодисментами, которые потом часто повторялись.

Сегодня, когда я эти строки пишу, с большой благодарностью вспоминаю тогдашних командиров, которые придумывали всевозможные средства, чтобы рассеивать думы молодых призывников, столь естественные, но и тягостные, — во время перехода с одного житейского пути на другой человек любого возраста, тем более юноша, обязательно волнуется от неясности завтрашнего дня.

Наш состав остановили где-то в тушике, а нас повели в местные казармы, где предельно вкусно накормили. Горячий борщ ободряет человека, будит его воображение, придает силы. Я с аппетитом ел котлеты, и будущее мне уже представлялось в розовом свете. Котлеты совсем другое дело — не то что сухая колбаса или селедка! Я уплетал и думал — столько котлет, на целый эшелон, кто мог приготовить?! Эко, моей воспитательнице и чуть ли не приемной матери, больше всего было лень котлеты готовить, и то на троих-четверых, а здесь — на весь эшелон!

Саак, сидевший справа от меня и уже успевший породниться с моими друзьями, раньше меня закончил еду, запил водой и будто невзначай спросил:

— Куда направляемся, кто знает?

— Куда должны направляться, — за всех ответил «Брак», которого в разговоре никто не мог опередить, — или в Москву, или в Ленинград.

— Ишь ты, чего захотел — Москва, Ленинград! Нашу страну ты только Москвой и Ленинградом представляешь? Что, другого местечка для тебя не найдут? — ответил Валико — «Пустик», который всегда отличался духом противоречия, особенно в отношении «Брака». — Нас, наверное, в Сибирь направят, дабы в морозах тамошних закаляли.

— При чем здесь мороз, дело в овладении современной техникой, а для этого лучше Москвы и Ленинграда другого места не сыщешь, а морозы и там лютые бывают, — не хотел утомиться «Брак», для которого посещение этих городов было давнишней мечтой. И действительно, не было в нашей стране ни одного человека, родившегося в канун революции или же после ее победы и прошедшего путь октябренька, пионера и комсомольца, для которого посещение этих городов не было бы заветной мечтой. С молоком матери мы впитали слова: Родина! Революция! Москва! Ленин!.. И наше поколение, мужавшее на подступах сороковых годов, было счастливым и непобедимым из-за той веры, котсрую эти слова и понятия внушали нам на веки вечные. Эта вера была той огромной силой, которая помогала нашим старшим поколениям побеждать на фронтах первых пятилеток и которая в развеванный по ветру века пепел превратила до зубов вооруженный, в стальной панцирь одетый фашизм. Сегодня, когда я издали смотрю на ту прошлую, в воспоминания превратившуюся пору, с благоговением и любовью думаю о тех, кто честно, умно и просто воспитывал в нас ту веру. Выросшему с той верой, с особой ясностью представляется мне смысл проклятья предшественников моих — «неверующий!» И действительно, что может быть страшнее человека, который ни во что и ни в кого не верит. Человек без веры — то страшное существо, в котором одинаково могут процветать все уродства — человеконенавистничество, зависть, вражда, подлость... Революцией воспитанное и закаленное поколение было далеко от неверия и вытекающих из него болезней. В этом главенствующее и вдохновляющее значение Революции.



После обеда мы все вместе встали из-за стола и принялись бродить по газармам — местных обитателей специально вывели на полевые учения, дабы освободить место для нашего отдыха. Мы обошли каждый уголок, задержались у спортивных сооружений, примерились к кольцам и перекладине, а затем, когда мы вошли в красный уголок, украшенный портретами вождей и военачальников, Дато заметил на столе кипу писчей бумаги и, задумавшись на мгновение, вдруг воскликнул:

— Ребята, давайте напишем письма девушкам... кто кому хочет!..

— Я Мзии напишу! — слегка покраснев, признался «Брак».

— А я — Русико... — признался Дато.

— Я — Маношке... — украдкой улыбнулся Како.

Слово мы превратили в дело — разобрали листки бумаги, ручек и чернильниц хватило на всех, и, рассевшись друг от друга поодаль, принялись за дело. Како опередил меня, хотя... что я должен был написать ей? Взглянув на парней одним глазом, я вдруг вспомнил контрольные работы Елены Михайловны, во время которых так же усердно грызли мы крепкими зубами концы пятикопеечных ручек, как сейчас, думая над началом писем, столь мучительным даже для опытных писмописцев. На оконном стекле с остервенением жужжала осенняя муха, потом, устав, она приуныла, а затем зажуужала опять. Почему муху никто не жалеет? Может, потому, что она одинаково садится и на розу, и на навоз? Ведь и она рождается, растет, существует, борется, стареет и... Ведь и у нее есть...

«Мама! Как-то неудобно к тебе обращаться... Это второе письмо, первое я написал, когда ты нас оставила и бесследно исчезла. То письмо так и осталось дома неотправленным, — почти пять лет мы твоего адреса не знали. Несмотря на столько месяцев назад мне стало известно твое местонахождение. Тетя Эко сообщила с большой осторожностью. Ты не можешь себе представить, что со мной было. Не скрою того волнения, я чуть не задохнулся... Потом успокоился, решил ничего не предпринимать, будто тебя и вовсе нет... Хотя все это время постоянно думал о тебе, и чем больше отгонял мысли о тебе, тем больше они меня одолевали...

Отец растил меня — он меня купал, кормил, ночами бодрствовал около меня, когда я болел... Когда мои сверстники матерью клялись, у меня сердце переворачивалось, в ушах звенело. Первый раз я тебя упомянул, когда отец умер. «Мамочка!» — воскликнул в горе по отцу. Он глаза приоткрыл, слегка улыбнулся и, еле ворочая языком, сказал: «После меня самым преданным существом у тебя будет мать...» Ни разу он недобрим словом тебя не упомянул, но ведь я сам все понимаю, а потому мне стыдно перед его памятью, что этим письмом будто мирюсь с тобой и прощаю те огромные страдания, которые ты нам обоим одинаково причинила, ибо его страдания для меня святы, он единственный для меня и мать и отец бессмертный...»

Из парней никто не писал девушкам...

\* \* \*

Миновали Ростов. От командиров мы узнали, что нас направляли на Украину. В тот день мы радовались Киеву и Харькову. Эшелон по ночам мчался, днем другим поездам уступал дорогу. Отпущенная гайка то жужжала, то нет. В ту ночь тоже не жужжала...

Сон у меня пропал внезапно. Я открыл глаза и в тусклом лунном свете, проникавшем через оконце пультмана, еле различил лицо Дато.

— Вставай, приехали!

— Куда приехали?

— Вставай и узнаешь, видишь, выгружаемся.

Я наспех собрался и вместе с другими спрыгнул на дощатую платформу. Приказ о построении уже был дан. Старшина поторапливал:

— Живее, живее, пошевеливайтесь!

В ночной тишине слышен был гулкий топот ног по платформе, потом все притихло. — все построились на привокзальной площади. Справа от меня стоял «Брак», слева — «Пустик». Под ногами — липкая грязь. Большой палец правой ноги у меня намок.

Послышалось «Шагом марш!» Мы двинулись неровным шагом, вышли на мостовую узкой улочки. Когда проходили мимо маленького вокзального помещения, в строю поднялся шепот, переросший в гул, все в один голос читали название станции — Шепетовка.

— Вот те и Киев! — процедил «Брак».

— Это ведь родина Николая Островского и Павки Корчагина... — произнес Дато.

— Bravo, отгадал, от Елены Михайловны пятерочку преподношу, — откликнулся неугомонный «Брак».



Шутка не прошла, сонливость все еще одолевала нас. С непривычки у меня то и дело подворачивалась нога на мостовой. Ночной туман осенней поры прямо накрывал главную улицу города, носящую имя Островского. С обеих сторон нудно выстроились одноэтажные и двухэтажные домишки; вои парикмахерская, освещенная тусклым уличным светом; универмаг с запыленными и полинявшими витринами, с манекеном в картузе, с глупым видом торчавшим в одной из них и давно подлежащим списанию. На висевшей у входа в кинотеатр афише красивые зубы улыбающейся Любови Орловой были топорно вырисованы художником районного масштаба — там демонстрировали «Цирк». Кругом была наплелена шелуха семечек.

Пройдя главную улицу, мы сразу же оказались на окраине города — ма-ла была Шепетовка. Мостовая кончилась, и мы вышли на грунтовую дорогу, покрытую дождевыми лужами, которые вначале мы пытались перешагивать или перепрыгивать, но вскоре, убедившись, что наши старания напрасны и чашей штатской обуви конец, пересгали утрудждать себя — уже не считаясь ни с грязью, ни с водой, зашагали по-солдатски. В предрассветной мгле влево от дороги мы различили лесопилку, огромное поле вокруг которой было усеяно штабелями рубленого леса. Справа от дороги, у сахарного завода прямо под открытым небом лежали огромные горы сахарной свеклы, издали напоминавшие египетские пирамиды.

К военному городку мы подошли неожиданно. У окрашенных в зеленый цвет железных ворот с двумя красными звездами стоял часовой. Военный городок был выстлан дорожками с кирпичным бордюром, посыпанными кирпичной же крошкой. Двухэтажные белокрашенные казармы не были тронуты осенней непогодой. На флашштеке приятно трепетал освещенный утренней зарей флаг. На одной из площадей стояли спортивные снаряды, а рядом был стадион с беговыми дорожками...

Нас ввели в огромный зал с низким потолком, где от стены до стены, в длину, в несколько рядов тянулись блестящие от солдатского усердия столы на перекрещенных ножках, а от солдатских брюк как полированные блестяли длинные скамьи без спинок. Вещевые мешки нам велели разложить тут же, вдоль стены. Действие по команде становилось привычкой. Затем нас заставили умыться в длинном, наподобие коридора, умывальном помещении с множеством кранов и тянувшимся вдоль стены жестяным корытом. Скомаандовали к столу.

Усаживались шумно, однако значительно тише, чем в Махачкале. Только тогда я почувствовал, что ноги у меня совершенно промокли и я уже не мог дышать носом. Дежурные красноармейцы, которые, видимо, заранее готовились к встрече, вкатили в зал полную бочку селедки и, поставив ее у края стола, сняли с нее крышку; затем один из них, засучив рукава, принялся выгребать чуть ли не по десять-пятнадцать рыбин и с жонглерской ловкостью метать их по гладкой поверхности стола в другой конец сидящим. За каких-нибудь пять — десять минут, постепенно сокращая расстояние, он с удивительной точностью «посадил» перед каждым из нас по две селедки. Воцарилось гробовое молчание. Это был второй эффектный случай в нашей солдатской жизни, если первым считать случай с Колей.

— Вода у нас вкусная, а ну-ка, ребята, не робейте, еще не то увидите за время службы! Налегайте, не стесняйтесь! — выкрикнул ловкач, перебираясь к следующему столу. Занесли огромными кусками нарезанный хлеб, и я вместе с другими впервые с огромным усердием взялся за раздельвание селедки, долго и старательно мучаясь над ней. Через некоторое время, уже наловчившись во многом, я частенько вспоминал ту неуклюжесть, с какой в тот день возился с рыбой. За селедкой последовала гречневая каша, затем сладкий чай в кружках. Та кружка, которая мне досталась в тот день, долго служила мне и была свидетельницей начала и конца моей солдатской службы.

— Мне почему-то кажется, что кто-то из этих парней должен быть Павкой Корчагиным. Может быть, тот, с комсомольским значком на груди и с доброй улыбкой, — шепнул мне на ухо сидевший рядом и усердно наворачивавший селедку «Брак».

— Если б Корчагин был жив, в отцы нам годился бы, дурачок.

— Сказал тоже. Я говорю «кажется». А то без тебя не знаю!

— А так, говоря честно, ступив ногой в Шепетовку, любой будет стараться подражать Павке во всем и всегда.

И действительно, ни один пункт нашей Родины не имел такой силы воздействия на юных призывников, как Шепетовка, которая закаляла в каждом из нас беспредельную любовь к Отчизне, к коммунистическим идеалам и превращала юнцов в непобедимых богатырей, героев, аперва остановивших, а затем разгромивших отборные армии Гитлера. Ни мнимая слава, ни европейские победы, ни фюрерские «золотые горы» не смогли устоять перед



верой и преданностью наших поколений Отечеству, Москве, Кремлю, в воспитании которых немалую роль сыграли Николай Островский и его Павлик Морозов.  
гиз из Шепетовки.

\* \* \*

В то время наша часть была расположена в окрестностях города Прода, где проходили военные учения. Мы жили в палатках, в лесу. Как-то после занятий я отдыхал на опушке леса, лежа на боку на пригорке, подперев голову правой рукой, а левой крутил в зубах травинку. Перед моим взором расстилалась гористая местность, покрытая густым лесом, — пейзаж Западной Украины, столь упрямо напоминавший мою родную Грузию, особенно западный склон Лихого хребта. Старый дуб, молча раскинув надо мной свои могучие ветви, без единого шороха всматривался в закатом окрашенную окрестность. Далеко, в ущелье, в беззвучном движении серебрилась полноводная река, вписываясь в пейзаж, подобно Риони у Колхидской низменности, уставшему от горного стремления, буйному в горах, как оторвавшаяся от погони лань, и спокойному в долине, как бабушка, в длинную зимнюю ночь склонившаяся у камина над спицами. Где-то вдали душевно и протяжно пели украинские женщины, голоса которых еле доносились до меня.

Чуть поодаль лежал, всматриваясь в небо, притихший Саак. Нас, парней, давно разлучили, распределили по разным частям, только я и Саак остались вместе — будто судьба нас свела в награду за ту чистую любовь, которой в юношеские годы бывают полны души.

— Помнишь слова твоей бабушки в тот день, скорее вечер, когда из Метехи вернулись? — неожиданно спросил Саак.

У меня будто язык отнялся, я замешкался — сомнения оправдались, Саак все слышал.

— Помню.

— Как ты думаешь, в чем причина той злости, которая мучила бабушку твою и которая по сей день беспокоит некоторых?

— Бабушка моя была типичным представителем отжившего класса, эгонстическая природа которого...

— Подожди, подожди, — прервал меня, улыбаясь, Саак. — Ведь мы с тобой вдвоем. Я здесь, в Западной Украине, говорю с тобой о том, что нас обоих беспокоило в Тбилиси.

Смутился ли я? И да, и нет. Я собрался, как это бывает с человеком в трудную минуту, если он по природе настойчив, и заговорил о том, что давно терзало меня и чего, однако, я вслух никогда не обсуждал.

— Пока я отвечу тебе, я хочу задать один встречный вопрос. Ты знаешь хоть одного грузина, у которого не был бы другом хоть один армянин, или же наоборот — армянина, который не дружил бы с грузином?

— Нет, — ответил он незамедлительно. — Во всяком случае, в Тбилиси такого армянина не найти.

— И грузина не сыщешь такого, к которому хотя бы один армянин не входил в дом. И то не забывай, что в прошлом из-за трудолюбия и таланта их против армян во всех соседних странах устраивали погромы. Взять хотя бы Турцию и Иран. В Грузии же бежавшие от погромов армяне всегда находили приют так же, как и сыны других народов, ибо наш народ сам по себе интернациональный народ. Грузины шовинистами никогда не были и не будут никогда, потому и в Грузии привольно живут представители почти всех народов мира. А подобные моей бабушке старухи со временем уходят с нашего пути и уносят с собой ту классовую озлобленность, которая осталась в них от девятнадцатого столетия, когда молодая буржуазия, которая в грузинской действительности была представлена тамамшевскими и адельхановыми, вытесняла загнивший феодализм правящих классов и тем самым вызвала в них на социальную, классовую основе подогретый национализм. Нам же, молодым, следует всеми силами и средствами защищать и развивать то святое братство наших народов, которое наши предки закалили в совместной борьбе за самосохранение и свободу! — закончил я чуть уставшим, скорее от радости, чем от возбуждения, голосом, ибо нет большего счастья для молодого человека, чем разрешить проблему, мучавшую его долгие годы. После этой разрядки Саак стал мне еще ближе, еще дороже, ибо оба мы были детьми одной земли, одного города и одного дома с одной улицы, впитавшими в себя одну и ту же любовь к благороднейшим понятиям Земли — Родина, очаг, Отчизна, совесть...

\* \* \*

После ужина по полемому радио мы слушали передачу из Москвы, затем приехали гости из соседнего колхоза — самодеятельный коллектив песни и



пляски. Украинские девушки и парни поочередно радовали нас огненными танцами и песнями, то бурными, то растянутыми, наподобие наших — о любви, преданности и героизме народном. Посвеживших на воздухе и откормленных наших парней особенно очаровывали пляски красных девушек, их оголенные стройные ножки в стремительном кружении.

— Что, Ваня, что скажешь? — шепотом обратился я к сидевшему рядом голубоглазому и златоволосому старшине из Воронежа, со слегка приоткрытым ртом зачарованно смотрящему на ветерком кружившуюся девушку, широкая юбка которой поднялась зонтиком чуть ли не до пояса. — Женился бы?

— Я в таком настроении, что всех вместе отвез бы их к моим старикам.

— Что с тобой, ты что, Ага-Мехмед-хан, что ли?!

— Кто этот твой ага, я не знаю, а краше славянки на свете девки нет. Лучше наших баб днем с огнем не сыщешь. И трудиться умеют на славу, и пелуются слаще всех.

— Знать бы мне, чьей будет вон та, которая лучше всех приседает и кружится, как сверчок, вон та, с краю, налево, чей дом она украсит своей престелью.

— Такие долго не задерживаются в отчем доме; пусть те горюют, о которых, коли нечего сказать, говорят — хорошая хозяйшика, с богатым приданым, из порядочных... Хотя на каждый горшок своя крышка...

— Как, это ханжество и у вас водится?

— Кто нас делил?

Кончились танцы, и бандуристы дружно заиграли, перекрывая музыку божевственным пением. Той песней завершился концерт, та песня осталась навсегда в памяти моей, ибо она стала гранью между двумя разновидностями человеческого существования, запечатлевшей гранью между миром и насильем...

...Я проснулся к рассвету от страшного гула. Выскочил из палатки в трусах и майке, взглянул на небо. Сивозвз кроны деревьев я различил самолеты, стаями летевшие в глубь страны. Они шли низко, будто вот-вот деревья заденут. Сообразив, я поначалу растерялся, но вскоре пришел в себя, огляделся — все наши были на ногах... Саак стоял рядом.

— Что случилось?

— Смотри, смотри, под крыльями бомбы висят.

— А кресты?

— Немецкие самолеты.

— Как?.. Неужели?.. — И я осекся, будто язык проглотил.

— Нет, наверное, они ориентир потеряли...

Мы не успели договорить, как над нами пролетела вторая двадцатка, затем третья, четвертая...

— Наверное, заблудились... — цеплялись за соломинку ребята.

— Какое там заблудились! Этим фашистам я никогда не верил, — ответил второй.

К десяти утра политрук части открыл митинг. Комиссар Тонконогов извещал нас о начале войны. Ораторы сменяли друг друга, каждый хотел выступить, хотел слово сказать, злобу излить даже те рвались, которые говорить не любили. Тот митинг остался в моей памяти, пожалуй, единственным, на котором люди выступали без подготовки, без приглашения и шаргалок.

Озлобленные коварством люди пылали гневом и огнем. Слушал я слова выступавших, силы прибавлялось, дух поднялся до предела — сердце рвалось от сдержанного гнева, требующего действия. Гордость за Родину, за своих переполняла мое существо — частицу той великой армии освобождения, которой историей человечества было предписано спасение земли от вандалов двадцатого века. Противника пока не было видно, он был еще неосязаем, потому-то мне от души захотелось иметь рядом того болтуна, дабы вместо врага, врага настоящего, хотя бы ему, на первых порах, дать по зубам русским нашим прикладом.

...С противником мы встретились на следующий день. Фашистские танки как навозные жуки ползли по полю зрелой яровой пшеницы, золотисто сверкавшей на стыке солнечного сияния и утренней росы. Ползли и в землю нашу родимую вдавливали трудом и потом выращенное человеческое добро.

— Мать родная! — взвыл кубанский парень Николай и обеими руками схватился за голову. — Хоть бы дорогой шли проклятые!

— Это еще начало, ты дальше гляди!

Тридцать насчитали. Они шли растянуто. У нас было всего три противотанковых орудия. Боеприпасы берегли. Танки открыли по нас адский огонь. Склон и густой украинский лес спасали нас. После полудня нас обнаружили и самолеты. Не хватало только вражеской пехоты. Наши артиллеристы вывели из строя семь танков, но вскоре и наши противотанковые орудия вышли из строя. Без артиллерии мы ничего не могли делать, хотя солдаты готовы были с вин-



товками кинуться на танки. К концу дня вражеская артиллерия превратила нас в мишень. Дивизия сократилась наполовину...

Ночью комиссар приказал отступить...

24-го июня, в полдень, дивизия распалась, разбрелась, рассыпалась под ураганным огнем. Остались злора, растерянность, ненависть...

...Мы трое держались вместе: я, Саак и воронежский старшина Ваня. От голода и бессонницы мы еле передвигались.

К концу дня, ближе к сумеркам, мы оказались на окраине той деревни, самодельный коллектив которой с таким усердием скрашивал наш последний мирный вечер. Мы были голодные, а деревня будто вымерла от чумы. Собака — и та звука не подавала. Стояла жуткая тишь, предвестник боли и страданий.

— Пищу какую-то должны раздобыть, а то с голоду помрем, — обратился к нам обоим старшина.

— А если немцы там засели? — осторожно спросил Саак.

— Тогда деревня так не притихла бы, — ответил старшина, — Зураб, ты должен пойти в село и что-то раздобыть. Мы здесь подождем. Оружие оставь, все равно с одной винтовкой ничего не сделаешь.

Саак не хотел меня отпустить, но старшина настоял на своем.

Как только я прошел лесную чащу и вышел в поле, усеянное копнами сена, у меня началось странное сердцебиение, какое бывало в детстве, когда, выйдя на охоту вместе с отцом, каждую минуту мы с напряжением ждали какой-то неожиданности. Кто бывал на охоте, согласится со мной, что каждый шорох, каждое мгновение бесконечно взвинчивает человека. Вспомнилось детство, ночлег у берегов озера Надарбазеви, комариное жужжание и крадущиеся шаги, когда каждая мышца напряжена до предела... Закат и рассвет чем-то похожи друг на друга... Наверное, бессильем солнца...

Я подошел к окраине деревни, к какой-то аккуратно ухоженной усадьбе. Двор был обнесен высоким деревянным забором, а калитка была чуть приоткрыта. Я вошел. Меня встретила гробовая тишина, даже кур не было слышно. Я осторожно шагнул, прошел мимо колодца и только собрался подняться на крыльцо, как из коровника послышалось какое-то резкое сопение. У меня остановилось дыхание, и я застыл на месте. Потом собрался с силами и крадущимся шагом подошел к дверям коровника. Приоткрыв дверцу, я взглядом наткнулся на коровьи глаза, уставившиеся на меня. Корова жевала сено, а вдоволь насытившийся материнским молоком теленок все еще вяло сосал огромное вымя, набухшее молоком. При виде их у меня прибавились силы, я решил подонять ее и угостить дружков парным молоком. Корова, правда, я никогда не доил, а бабушкину козу в детстве часто и ловко освобождал от молока. Тут же я пригнул ведро, стоявшее в углу. Только я собрался приняться за дело, как передумал — решил войти в дом, хотя бы для знакомства с хозяевами — без разрешения было неудобно.

Мигом поднявшись на крыльцо, я вошел в маленькие сени. На вешалке висела овечья шуба и протертые ботинки не первой чистоты, а на полу валялись старые сапоги, несколько пар галош и еще какой-то старой обуви. В комнату уже входили сумерки. На столе я заметил лампу. Достав из кармана спички, я осторожно циркнул, опустил до предела фитиль, зажег его и, надев стекло, медленно начал прибавлять свет. Я оглянулся, и... колени подкосились, голова закружилась; казалось, я вот-вот потеряю сознание... На развороченной постели лицом вверх валялось голое тело той блондиночки, которая лучше всех танцевала в последний мирный вечер в нашем лагере. Прекрасное личико было искажено. Только волосы, золотистые волосы сохранили прежний блеск, будто даже краше выделялись на скомканной подушке. Левая рука свисала до пола, а окровавленная правая лежала на выпотрошенном животе. Расставленные ноги были привязаны к спинке кровати... В комнате стоял тяжелый воздух и...

Ноги у меня отяжелели, словно прилипли к полу, голова будто разбухла, кругом все закружилось... И в ту же минуту в замершем селе поднялась страшная суматоха. Оказывается, фашисты устроили засаду: жителям деревни было приказано сидеть в домах без света, без звука и без движения, чтобы по зажженной свече обнаружить наше местонахождение.

Опасность придавала силы; я погасил лампу и вмиг оказался во дворе... Какая там корова и еда! Я пустился по полю, а сзади доносился лай двуногих и четвероногих собак. Временами строчили из автомата, скорее на авось, чем по цели, ибо сгустившиеся сумерки почти на нет сводили видимость. Я, не оглядываясь, неся к лесу, до которого оставалось не более четырехсот метров. Бежал зигзагами. Только я успел обойти копну сена, как догнавшая меня овчарка вцепилась зубами в икру правой ноги. Я как подкошенный упал на землю. Собака, отпустив разодранную до крови ногу, с раскрытой пастью стала над го-



ловой и с остервенением лаяла. Фашист тут же подоспел и для порядка пустил в мою сторону очередь... Собака взвизгнула и свалилась наземь, а я машинально вскочил и попытался бежать, но разодранная правая подвела, а вторая очередь подкосила и левую...

— Aufstehen!<sup>1</sup> — пролаял подоспевший завоеватель.

— Я твоих живых и мертвых... Ohne Deine kann ich nicht aufstehen<sup>2</sup>, — гаркнул я снизу и не то чтобы от боли, а от злобы, от сознания своей беспомощности вцепился в рыхлую землю, продолжая брань уже по-грузински.

Вдруг свистнула пуля, и пошатнувшийся завоеватель так приподнял дуло к небу, будто вместо меня хотел расстрелять только что появившуюся луну. В тот же миг Ваня наклонился надо мной.

— Что с тобой, парень? — вцепился в мои плечи подскокивший Саак.

— Тяни за левую, быстро! — скомандовал Ваня, и вдвоем они погасили меня в сторону леса.

Двуногий и четвероногий преследователи так гнались за нами, будто охотились за кабанами. Поднялся автоматный треск. Как только мы вошли в лес, кто-то из ребят вскрикнул:

— Ма...

Я сразу не понял, кто из них, но тотчас же почувствовал потерю правой опоры, и Ваня свалился, Саак же не смог меня удержать, и мы оба упали на землю. Бросив меня, Саак подтянулся к Ване и руками начал ощупывать рану. Я тоже потянулся к нему, и под нашивным карманом гимнастерки, слева, пальцы нащупали теплую кровь... Из носу и изо рта тоже лилась кровь...

— Убили... Соберись с силами и держись на моей спине! Одна собака осталась, в лес не осмелится...

— Может быть, жив?

— Не видишь, холодеет, и пульс не прощупывается, быстро!

— Саак, — шепотом сказал я стоявшему рядом на коленях Сааку, — я не в силах идти, а ты с голоду ослабел и не сможешь меня тащить... Спасайся... А меня... Живого не отдавай этим гадам... В моей винтовке еще осталась одна пуля... В голову... В стрельбе они ничего не заметят... В правом письме к матери... Второй год с собой таскаю... Если сумеешь, как-нибудь дошли... Все-таки родительница, жалко... Завет отца камнем лежит на сердце... Не тяни, удобный момент, стреляют... Ну!

Сказал — и уже в темноте закрыл глаза. Нет, смерти я не боялся, только не хотелось так, по-собачьи, от рук дорогого человека, бесславно, вдали от моего Тбилиси... Завещание отчее вспомнилось: «Когда и мой сын когда-нибудь уйдет из этой жизни, положите его рядом со мной; так, чтобы... рядышком... как можно ближе... дабы общий был вечный покой...» Я пожалел отца родного за то «когда-нибудь», которое, наверно, так трудно было ему выговорить и что сбылось столь быстро, а «совместный вечный покой» не исполнится никогда.

...Вдруг что-то треснуло возле уха...

\* \* \*

...Я приоткрыл веки. Ничего не понял. Опять прикрыл, а через некоторое время глаза сами раскрылись. Я увидел Саака — он сидел у изголовья на резном стуле в богато обставленной комнате. На его изможденном лице блеснула улыбка.

— Где мы?

— В охотничьем доме какого-то пана, убежавшего после присоединения. От наших удрал. А сейчас здесь киевский лесничий живет со своей старухой. Хорошие люди. В течение трех суток выхаживают тебя, как родного сына.

— А как мы здесь оказались?

— Когда ты сознание потерял, я тебя в лес затащил, они туда не осмелились сунуться. Отдохнув малость, я вернулся к Ване. Он умер. Затем я тебя взвалил на спину и всю ночь тащил в гору, в глубь леса. У этого дома издали же приметил благородное лицо старика. Прямо подошел с ношей. Он ничего не спросил, старуху свою кликнул. Нас завели сюда, тебя обмыли, перевязали. Левая перебила пулей, на пять сантиметров ниже колена.

— А Ваня?

— Я вчера спустился туда. В лесу похоронил.

— Нога сохранится? — спросил я осторожно, не чувствуя ни одну из них.

— За месяц все пройдет. Собачий укус уже на поправку идет, много крови потерял. Эти хорошо будут ухаживать, и есть чем кормить.

<sup>1</sup> Встать!

<sup>2</sup> Без ног я не могу встать.



В это время в комнату вошла милая старушка с мягко подвязанной под подбородком белой косыночкой на седой голове. В руке она держала миску с парным молоком.

— Здравствуй, сынок! Хорошо, что пришел в себя, а то твой брат чуть ли не свалился от твоей болезни. Не спит, не ест, ни до чего не дотрагивается. На, сынок, выпей, сразу силы придут.

«На бабушек везет...» — подумал я.

Бабуся перелила молоко в мою кружку. «И вещевой мешок с собой притащил», — подумал я. Затем намазала на кусок хлеба масло, вместе с молоком поднесла к кровати и до тех пор сидела около меня, пока я не закончил трапезу...

Не успела она убрать крошки со стула у изголовья, как в комнату вошел чуть выше среднего роста, слегка сутуловатый, коренастый старичок. Седые борода, усы, брови придавали благородство его облику. Есть мужики, которых старость до конца жизни не одолевает и до самых последних дней своих в облике их сохраняется мальчишеская игривость вперемешку с мудростью старца.

Старик степенно подсел к столу и, осторожно осмотрев меня, достал самодельную длинную трубку, головкой сунул ее в кожаный кисет, не доставая ее оттуда, внутри же набил табаком, с легкостью высек трутом огонь и некоторое время развлекался разжиганием трубки.

— С их помощью, — начал Саак, — ты за месяц встанешь на ноги: за это время наши приостановят фашистов и погонят к чертовой матери, а мы с тобой снова присоединимся к нашим.

— Что этот встанет на ноги, не сомневаюсь. Что же касается изгнания стервецов с нашей земли за месяц, сомневаюсь. Война будет длинная, — будто невзначай вставил старик.

— Неужели наше командование не знало, что собирался творить Гитлер? — горько спросил Саак. — И если знало, куда смотрело?!

Молоко, масло и хлеб придали мне силы.

— Сынок, вытри молоко с губ, все-таки мужчина. Вот так. А пока рано-вато тебе такие разговоры вести... Рано пташечка запела... Котенок не имеет права льва облаивать, хотя бы потому, что кошки вообще не умеют лаять. Вот так. — По глазам видно было, как накалялся старик. — Куда вам помнит голодом изможденную страну двадцатых годов, страну сохи и страданий, окруженную со всех сторон волчьими стаями буржуев всех мастей. Где вам помнит тысячи разноликих оппозиций внутри Советов, которые своими хитроумными дискуссиями и оппортунизмом выматывали партию нашу. Куда вам помнит голодовки тридцатых годов, неурожайные годы и тысячи других недугов, сотрясавших великую страну нашу!

Не можете вы помнить по малолетству вашему днепрогэсы и пятилетки славные, ударничество и стахановское движение, беспощадную борьбу за единство и монолитность Родины! Борьбу, которая вселила в нас веру, вдохновение неисчерпаемое. Вера же — та огромная сила, с которой ничто не сравнится никогда. Помните навеки — Россию никто не сможет поработить... Так что молочко вытри с усов твоих молодых, за собой смотри и подготовься к длительной борьбе. — Потом к бабуся повернулся и уже спокойным голосом сказал: — Курный бульон принеси с мясом, у этого парня лицо ожило, скоро оперится...

Старик был из тех, которые редко балуют разговорами, однако если начнут, трудно их переспорить или притушить хотя бы — медленна и мощна их логика, как течение русских рек.

Слабость меня одолела, я вздремнул. А когда опять открыл глаза, только Саак оказался в комнате — не раздевшись, не разувшись, облокотившись о спинку резного кресла, он спокойно, ровно сопел. Спроси меня — кто он тебе — товарищ или друг? Я обязательно ответил бы, что мало второе, ничто первое, и вконец права старушка — братом был настоящим, братом без общего отца и общей матери, но с одним, единым родителем нашим, имя которому — Тбилиси!





## ДВА РАССКАЗА

# Двойной ГОНОРАР

**В** РЕДАКЦИЮ меня привел знакомый писатель, друг отца. Он сказал редактору, что я молодой поэт, и попросил присмотреть занятие, подходящее для «начинающего дарования». Редактор был огромного роста. Его глаза глядели на меня откуда-то из-под потолка.

— Если, кроме писания стихов, он ничего делать не умеет, то пусть надевает свою кепку и больше не показывается. Мне нужен не поэт, а работяга, понимаете? — проговорил он, не заботясь о тоне.

Мои финансы давно были в плачевном состоянии, время к тому же было военное, тяжелое. Сметнув, что в создавшейся ситуации можно получить от ворот поворот, я сказал, что хорошо рисую, знаю газетное дело, смогу работать фотокорреспондентом и даже корректором.

— Если перетрусить все тбилисские редакции, то далеко не в каждой найдешь хорошего фотокорреспондента, художника и корректора, а ты, выходи, мастер на все руки? — редактор недоверчиво прищурился.

Я понял, что перегнул, но идти на понятный было поздно.

— Ладно, — он положил на стол могучую ладонь, — завтра тебя введут в курс дела. Не потянешь — отправишься туда, откуда пришел.

И я приступил к работе.

Необъятное количество редакционных дел и заданий выполняли всего двадцать человек — большинство ушло на фронт. О том, как я «притирался», рассказывать долго и незачем. Одно скажу: в два месяца новоиспеченный литсотрудник «усох» на целых восемь кило.

— Брось эту чертову работу, — умоляла меня мать, — чахотку наживешь. Посмотри, на кого стал похож — кожа да кости.

От страха я не смотрел в зеркало. «На то и война, чтоб недосыпать и недоедать, — уверял я себя, — вот она кончится, тогда лягу и просплю несколько месяцев подряд. И вообще, что редакция, что армия — все едино. Здесь так же, как на передовой, «не могу» не существует...»

..Как-то я получил очередное редакционное задание: поехать на один из заводов в районе Грма-Геле и заснять группу передовых рабочих. Час туда, час — на дело, обратный путь — накидывай еще часок. Вот тебе и все сто семьдесят минут. Но это в лучшем случае, в идеале, что ли. Потому что трамвай плетется фантастически медленно. Причем от района Веры до вокзала я должен ехать на первом номере, от вокзала до поворота на Лоткинскую гору — на восьмом, а дальше до Грма-Геле — шестым. Людей, само собой, как сельдей в бочке. Влезешь, а о том, чтоб наружу выбраться, и подумать страшно.

Кое-как втрамбуешься, фотоаппарат оберегаешь всячески, чтоб его в лепешку не сплюснуло. Трясешься и мечтаешь только об одном — как бы где-нибудь у Надзаладэви ток не выключили.

Обвешанный своей фотоаппаратурой, я отправился в путь. До Грма-Геле кое-как добрался. Вылез из трамвая. Ощущение такое, будто меня долго и



больно били. Пуговицы на пиджаке словно бритвой срезало, ботинки ободраны, ноги ноют, будто по ним колонна танков прошла.

Съемку я провел молниеносно. Главный инженер дал на все десять минут.

Возвращался веселее: до набережной — на попутном заводском «газике», а дальше — бегом, довольный тем, что все провернул быстро. Домчался до редакции и заперся в лаборатории.

Через час снимок был готов. Занес я его к редактору с торжествующим видом: обернулся мигом, да и качество вроде хорошее. Положил снимок шефу на стол и вытянулся в предвкушении похвалы.

Однако редактор, взглянув на фото, окинул меня испепеляющим взглядом:

— Неужели тебе нельзя доверить даже такого пустякового дела?.. — проговорил он могильным голосом. — Подойди-ка сюда!

Я приблизился к шефу, как к боксеру, нацеленному на мою челюсть.

— Что это такое?!

— То, что вы мне поручили.

— А ну, посмотри как следует.

— Вы сказали сфотографировать пятерых, так и сделано! — осмелел я, не обнаружив на фото никакого изъяна.

— Видишь в дверях замочную скважину? Вот в эту скважину я тебя сейчас и продну!

Я невольно посмотрел на дверь и представил, как пролезаю сквозь крошечное отверстие.

— Скажи на милость, чего ради ты этих вот четверых снял без шапки, а пятого оставил в фуражке? В таком виде снимок не пойдет. Сейчас же отправляйся обратно и сделай новый, да не забудь, идет в номер! — велел редактор.

Из кабинета я вышел качаясь.

Ехать на завод не имело смысла. Там уже работала вторая смена. «Самое время написать заявление об уходе, и мама давно об этом просит», — крутилась в голове неотвязная, как муха, мысль. Но вот в моем смятенном мозгу стали вырисовываться смутные очертания одной неплохой идеи.

Прежде всего я зашел к ответственному секретарю и сказал, что новый снимок положу на стол через час, самое большое. Снова запершись в лаборатории, я засучив рукава взялся за злосчастное фото.

Посмотрим, как его величают, этого, в фуражке. Ага, Леван Гокадзе. Прекрасно. Сейчас, милейший Леванчик, мы сдернем с тебя твою кепочку — вот та-ак. Теперь соорудим кучерявую шевелюру. Впрочем, стоп, стоп, стоп! Действительно, какие должны быть у него волосы, длинные или короткие? И как зачесаны? На пробор, набок или, может, к затылку? Оказавшись в тупике, я схватился за телефонную трубку, чудесным образом дозвонился до заводского коммутатора и попросил главного инженера:

— Я — корреспондент газеты, который был сегодня у вас, припоминаете?

— Да, да, слушаю вас.

— Скажите, пожалуйста, какие волосы у вашего рабочего Гокадзе?

Трубка молчала.

Представив себе, как вытягивается лицо собеседника на том конце провода, я повторил вопрос и получил ответ, выдержанный в стиле лучших боцманских традиций. Последующие попытки дозвониться оказались бесплодными. Главный инженер то ли не снимал трубку, то ли вышел из кабинета. Ничего удивительного: завод выпускает военное оборудование, работает круглосуточно, у начальника забот полон рот, а я звоню, интересуюсь, извольте видеть, золотишком какого-то Гокадзе!

Семь бед — один ответ, решил наконец я. Два мазка белой краской — и фуражку моего героя как ветром сдуло. Несколько черных виточков колонковой кисточкой, и вот уже с фотографии смотрит пышнокудрый Гокадзе.

Такой феноменальной ретуши я еще ни разу не делал. Взглянул на часы — времени до сдачи фото хватает. Откинулся на спинку стула, спокойно выкурил папиросу, затем, напустив на себя вид человека, только что прибывшего с задания, стремительно ворвался в редакторский кабинет и положил на стол фото — вот, дескать, снял вторично.

Наутро газета с фотографией кудрявого Гокадзе на первой полосе разлетелась полумиллионным тиражом по всей Грузии...

...Работать мы начинали в десять. Не успел я ступить на порог редакции, как сотрудники все разом накинулись на меня:

— Что ты натворил? Ищи себе другую работу! Парикмахер!

— Что случилось? В чем дело? — опешил я.

А дело-то было все в том же злосчастном Гокадзе. Оказалось, что он лысый, словно биллиардный шар!

Раскрыв поутру газету и увидев свою голову, обрамленную живописными локонами, Леван, естественно, вскипел: редакция, мол, сделала из меня посме-



пище. Или я, говорит, или этот фотограф. Заводское руководство, конечно, на стороне Гокадзе: передовик, мастер — золотые руки, зря-де обидели человека века. Звонят. Жалуются, негодуют. Словом, светопреставление!

Я один хранил олимпийское спокойствие, поскольку прекрасно понимал, что меня не спасти никакому чуду...

— К редактору, — услышал я в трубке.

Вхожу в зловещую тишину кабинета. За столом — члены редколлегии.

Все сосредоточены. Редактор смотрит в какие-то бумаги.

Прошла вечность, прежде чем он заговорил.

Обрывки слов долетали до меня как сквозь туман.

Наконец редактор умолк, поднял голову и пристально посмотрел на меня.

По-видимому, под градом насмешек я выглядел жалко и смешно.

Взгляд шефа посветлел.

Вот он уже улыбается, затем начинает трястись в беззвучном смехе. Вскоре и все присутствующие хохочут.

А я едва не плачу. На собственной шкуре чувствую силу смеха как оружия. Лучше бы уж бранили...

Вдруг редактор резко посерьезнел.

— Дадим ему строгий выговор с последним предупреждением и... сообщим об этом на завод, пусть знают, — слышу я слова, обжигающие как плеть.

— Да, но там требуют увольнения, — робко замечает заместитель.

— Это я беру на себя, — говорит шеф, — и проследите, чтоб ему выписали двойной гонорар. Не забудьте... Двойной. Тридцать лет я в газете, всякого навидался, но о подобной фотоэквилибристике даже слышать не приходилось.

Затем шеф, вновь став самим собой, сказал мне обычным, будничным голосом:

— Если хочешь, можешь присутствовать на заседании коллегии...

Остался я или нет, не помню. Но никогда не забуду слов редактора:

— Парню-то надо мириться с Гокадзе! Не-ет, без двойного гонорара ему не обойтись!

# ПОСЛЕДНИЙ ДОМ

**Н**ЕБО выворачивалось наизнанку в стремлении затопить всю землю. Кура вышла из берегов.

Вешеные потоки ринулись с окрестных гор, разворачивая мостовые, валя столбы, деревья...

Вода затопляла нижние этажи домов и обращала в бегство объятых ужасом людей.

Ночь напролет неистовствовал, ликовал, буйствовал ливень и лишь к утру, вволю натешившись покорной беззащитностью людей, утихомирился.

Бледные, осунувшиеся после бедственной ночи горожане ходили по улицам, сокрушенно дивясь следам разгула стихии и урону, нанесенному их родному городу.


На Пёсках вода спадала медленно. Лишь к исходу третьих суток в Куру скатились последние грязные ручьи.

Стали слышнее, дружнее и невняснее вопли и причитания женщин, спешивших (как бы ливень вновь не грянул!) отправить детишек к родным и знакомым в другие районы.

Мужчины молча — словно потоп забил им рты песком — приступили к ремонту растерзанных жилищ, прилаживали к косякам сорванные водой двери и оконные рамы. Но — известное дело — каково поднимать больного со смертного одра! Многие безнадежно опустили руки.

Никто не надеялся на чудо. Чуда ждать было неоткуда.





Небо очистилось, прояснилось, но солнце, проглянувшее в облачные прогалины, не сумело согнать туч тяжелых раздумий с лиц тех, кто лишился силы. Возместить огромный ущерб, нанесенный стихией, сразу же было не в состоянии.

Люди постепенно смирились с бедой, вернее, вжились в нее. Но Пески вновь потрясло. Разнеслась молва: всем пострадавшим от наводнения дают квартиры в новых домах, а на месте извечно затопляемого квартала разбивается невиданно прекрасный парк, ни дать ни взять — эдем!

Воспрянули песковцы.

Однако весть вестью, а дело делом. Отправились с Пёсков почтаемые и посеребренные годами мужи туда, откуда правды ждут. И когда получили подтверждение — «солидную» бумагу с гербовой печатью, возликовал всяк живущий в том квартале. Там и тут слышались пронзительные звуки зурны, дробно грохотал доли.

Надо было видеть Пёски в тот поистине счастливый день!

Обилия еды и питья, поданных на столы по случаю радостной вести, хватило бы на весь город.

И Тэдо в меру сил своих стариковских выпил, закусил чем бог послал. Теперь он был спокоен: устроит «по-царски» свою молодежь — дочку и зятя — и сам со своей старенькой Даро спокойно доживет остаток дней.

Через несколько дней появились не улыбочивые и весьма озобоченные товарищи, которые стали деловито составлять списки песковцев. Шарманщики с зурначами времени зря не теряли: разбитные служители «музыкального цеха» зашибали деньги. А «деловитых товарищей» ни из одной семьи не отпускали трезвыми. Кое-кто лелеял лукавую мыслишку — авось дадут квартирку побольше, чем другим. Но в конце концов каждому досталось то, что полагалось. Ни больше, ни меньше.

Не обошлось, впрочем, без строптивых: они артачились, выторговывали каждый квадратный метр жилплощади. Но вот катавасия кончилась, и в один прекрасный день весь район снялся с обжитых мест, где всем досконально, до последней мелочи была известна вся подноготная друг друга.

Съехали жители. Обезлюдел и обезголосил квартал.

Прошло время...

Песковцы обживались в новых жилых массивах.

Старикам, Тэдо и Даро, досталась одна комната, а их молодым — две. И тем и другим в Глданском массиве, поблизости друг от друга.

Поначалу старики не могли нарадоваться на новые стены. Словно дети, восторженные ходили они по квартире, дотошно осматривали ее, ощупывали каждый гвоздь, раму, косяк, поглаживали свежевыкрашенные стены.

Отспраживали песковцы новоселье, осматрелись, и по-прежнему потекла их повседневная жизнь. Впрочем, «перемена мест» в известной мере видоизменила их быт. На старых Пёсках день пролетал на людях, в обществе соседей легко и незаметно. Здесь же старики оказались, что называется, в плену у четырех стен, одни-одинешеньки. Течением новой жизни их отнесло от стремнины привычного, почти родственного общения с соседями. Здесь они почувствовали себя выброшенными на глухой и нелюдимый берег. Но грешно и думать — старики никому ни разу не пожаловались, никто не слышал от них ворчливого слова, ропота, намека на недовольство.

Так было или иначе, только однажды потянуло старика в старый район. Шел он легко и молодо. Но когда ступил на Мухранский мост и посмотрел в сторону Пёсков, сердце забилось часто и неровно, ноги подкосились. Пески толпились в клубах желто-бурой пыли, поднятой целым стадом бульдозеров, которые с грохотом и ревом крушили старые постройки.

Прохожие, кто удивленно, а кто и с беспokoйством, оглядывали тщедушного старика, вцепившегося в перила. Кто-то осторожно взял его за локоть, предложил помощь, но Тэдо, поблагодарив, отказался. Собравшись с силами, он поплелся выдавшими виды мостовыми Пёсков, напоминавшими поле битвы. Сердце старика обливалось кровью. Дома безжизненно щерились дверными и оконными проемами. Заборы и ворота повалены, лестницы — в щепу, кора с деревьев сорвана, в проломы стен видны старые, закопченные обои...

Было время перерыва, рабочие сидели группами, курили.

Тэдо подошел к одной группе, поздоровался, но его, кажется, и не заметили. Старик обиделся. А ведь совсем недавно, когда здесь на каждом шагу ключом била жизнь, ни одна живая душа не проходила мимо Тэдо не поздоровавшись. А теперь явились эти молодцы, крушат все подряд, без разбору, а на него, на старожилу Пёсков — ни влолглаза.

Тем временем рабочие, весело переговариваясь, разошлись по своим экскаваторам, бульдозерам, скреперам, и разом все снова загудело, заревело,



скрылось в клубах пыли. Армада строительной техники неумолимо наползала на обреченные домишки.

Тэдо словно пригвоздило к месту. На глазах окончательно рушилось исчезало без следа его прошлое. Еще несколько мгновений, и эти веселые, бес-течные парняги снесут своими машинами все, что еще продолжает зыбко соединять старика со всем забываемым и безвозвратно ушедшим... И почему, спрашивается, вот этому кучерявому надо непременно начинать с его дома!

— Да куда тебя несет, соли я тебе на хвост, что ли, насыпал?! — закричал Тэдо, пытаясь перекрыть шум мотора, и преградил путь бульдозеру.

Машина стала.

— Ты что, на тот свет спешишь? Или, думаешь, эту махину разом остановить можно? — Из кабины высунулся бульдозерист с искаженным гневом лицом.

Тэдо с трудом переводил дыхание, и бульдозерист, рассмотрев его попристальной, сменил гнев на милость.

— Ну, чего молчишь, папаша, — невольно улыбнулся он, — не скажешь, почему преградил дорогу?

— Почему да потому! Посмотри вокруг: целые горы битого кирпича, щебня, всякой всячины, а ты прямоком на мой дом нацелился!

— Не сердись, папаша, все равно здесь ничего не останется. Днем позже, днем раньше! Какая разница, откуда начинать!

— Вот и поворачивай свой драндулет. Пусть уж лучше будет днем позже!

— Кончай лекцию, дед, и отваливай, а то сейчас как включу третью скорость!

— До смерти напугал!

Бульдозерист спрыгнул на землю и подошел к Тэдо.

— Значит, говоришь, твой дом? — спросил он, жуя сигарету.

— Мой. Был... мой...

— Золото в какой стене схоронил? — парень шутливо улыбнулся.

— Эх, силы у меня не те, а то за такие слова я б тебе показал, где раки зимуют! Это вам день и ночь золото мерещится, а нам, голубчик ты мой, в свое время одной мурцы или циморы<sup>1</sup> хватало.

— Это что, рыба?

— Нет, птица!

— Вот что, папаша, хватит тут арапа заправлять, мне работать нужно, понял?

— Разрушать, выходит, тоже работа?

Парень ухмыльнулся и серьезно проговорил:

— Не разрушишь — не построишь.

— Во-во, ломать вы горазды!

— А строить? Посмотри, папаша, вокруг новых домов не перечесть, ну-жели все это тебе не по душе?

— Нет, почему же, за это, конечно, спасибо вам великое.

— Говоришь «спасибо», а обижаешься.

— Да, обижаюсь.

— Почему?

— А потому, что нельзя все подряд рушить!

— Не бойся, папаша, мы ведь только то рушим, что в негодность пришло, теперь никому не нужно и даже мешают...

— Постой, постой, а кто же это решил — что нужно, а что не нужно? Может, то, что тебе ненужным и негодным в этом городе кажется, для меня как раз самое нужное и важное, а? Кто же все это определил?

— Ну, папаша, наверное, есть люди, которые все эти вещи обсуждают и решают...

— Будто? А как же тогда Ишачий мост, который вон там возле Метехи был? Захотели новый широкий мост — и отлично, и стройте его с богом, но в другом месте! Зачем же старый ломать? Ведь такого моста сейчас уже нигде и не сыщешь! Или взять паром! Кому он, спрашивается, мешал, я тебя спрашиваю? Знаю, знаю, вы как огня боитесь, чтоб кто-нибудь где-нибудь не сказал: «Кругом автомобили, как их там, лайнеры, ракеты, а здесь, поглядите, все еще паромикшо елозит!» А паром... Знаешь, чем он был для нашего города? Ничего-то ты не знаешь! Паром, — Тэдо восторженно закатил глаза, — паром — это краса Тифлиса! Кура без него — сирота-сиротинушка... Или возьми голубую мечеть на Майдане! Глазурованная красавица, камень-бирюза и только! И ее под корень! Как последний сарай! А теперь за Пёски принялись!..

— Будто Тбилиси сквозь землю провалится, если мы этот заплесневелый район снесем!

<sup>1</sup> Мурца и цимора — речная рыба.



— Провалиться не провалится, но что-то утерять. А что до плесени, то не грех тебе запомнить, что этот запах при каждой старой доброй вещи уловить можно.

— Не смертельно все это, папаша. Молодежь подрастет, привыкнет к новому и полюбит его, новое.

— Подрасти подрастет, но предположи, что не по душе ей придется построенное вами и в один прекрасный день они обратят все в прах, а? Что ты на это скажешь, добрый молодец?

— Мы так построим, что им непременно понравится.

— Когда мы строили, то так же думали...

Многие, привлеченные этим необычным спором, оставили работу и сгрудились вокруг — развлечемся, дескать.

— Чего же он хочет, Нодар? — спросил один из рабочих у бульдозериста. Нодар не ответил.

Ребята притихли, удивленно глядя на своего озадаченного товарища.

— Ну, хорошо, скажи сам, папаша, откуда начинать?

— Что начинать? — не понял Тэдо.

— Какой дом сначала ломать?

Тэдо опешил — не разыгрывает ли его на старости лет этот молокосос. Однако, встретившись глазами с твердым взглядом бульдозериста, указал на домишко в стороне.

— Выходит так — моя хата с краю, а чужой можно? — спросил парень язвительно.

— Это мастерская, — отвел удар Тэдо.

Взревел мотор, и бульдозер скрылся в клубах пыли.

Тэдо сидел на камне все время, пока «приканчивали» мастерскую.

Было холодно.

Наступил полдень, и машины одна за другой заглушили моторы.

Ребята сгрудились у погнутой водопроводной трубы и стали умываться.

Старик между тем исчез куда-то, но вскоре появился и, ко всеобщей радости, поставил на грубо сколоченный стол две «Московские».

Незнакомец сразу стал «своим в доску».

«Может, согреюсь немного», — подумал Тэдо, опрокидывая за компанию с рабочими свой стаканчик.

Домой он вернулся поздно. Ныли суставы. Все тело отчаянно ломило.

— Что это с тобой? — ворчала Даро. — Где-то тебя черти носят до потемок?

Однако Тэдо не стал ничего объяснять, а утром заспешил из дому и опять пробыл на Песках до позднего вечера.

С каждым часом, с каждым разрушенным домом там становилось просторней и неузнаваемой.

Во время обеда, глядя на оседающее облако тонкой въедливой пыли на месте только что снесенного очередного домишка, Тэдо рассказывал о его бывших обитателях.

Вот на глазах развалилась мастерская с вывеской «Вулканизация», в которой с незапамятных времен работал слепой Трифон.

Бок о бок с «Вулканизацией» жил огузинившийся украинец шофер Пархоменко, которого никто не помнил грустным. Вечно он балагурил, пересыпая свою речь солеными шутками-прибаутками. Во время наводнения, невеста где раздобыв крошечную лодочку, он двое суток носился на ней от двора ко двору, помогая попавшим в беду...

...Прошел еще день.

Ребята догадались, чем дорожит старик, и обходили его развалюшку. Однако с каждым часом увеличивалась площадь под новый микрорайон, и участь всех домов Пёсков неминуемо надвигалась и на дом Тэдо.

Старик все дни проводил на руинах, невзирая ни на дождь, ни на ветер, ни на снег. Он сильно простудился, его мучил жестокий кашель, но все же он продолжал приходить на Пески.

...Ломали дом Пета Майсурадзе, того самого достославного общеизвестного Пета, которого молва нарекла богом всех тбилисских дудукистов и зурначей.

Пока был жив Пета, улочки и переулочки Пёсков были исполнены совершенно особого очарования. Вся дружина зурначей частенько собиралась у своего отца и учителя. Говорили о нем так: когда начинает играть Пета, ему внимают даже обреченные на поминальный плов барашки. Ученики и горячле поклонники буквально боготворили Пета. Счастливички, которым удавалось позвать Пета к торжественному столу, надолго запоминали такое событие.



Умер Пета — и на его похороны отовсюду, из ближних и дальних краев из Баку, Нахичевани, Еревана, из Дагестана — съехались приверженцы непревзойденного музыканта-виртуоза. Они горестно оплакали кончину своего старейшины и похоронили его с великой торжественностью.

Потом были грандиозные поминки. Столы накрывали прямо на улицах, ибо никакой дом не смог бы вместить всех скорбящих.

Во всех духанах от Дигоми до Лочини зурначи и дудукисты играли беспрестанно — в помин Пета. Так и объявляли они недоумевающим завсегдатаям и случайным посетителям: «Мы играем сегодня в честь Пета! Это был великий музыкант! Таких пальцев нет и не будет ни у одного музыканта в мире! Помните его — и пусть душа его ликует и поет вместе с оловьями в садах рая!..»

...Снесли еще два дома.

В одном из них раньше жил маляр Габо — многосемейный, неунывающий, хлебосольный и гостеприимный человек. В другом — кривой Серго. Этому наверняка пришлось по нутру новая квартира. Запрется теперь на три замка и будет сидеть взаперти предовольный. Он и на Пёсках от всех хоронился, ни выйти в компании, ни время провести — брюзгливый, скрытный, скупой.

Когда ломали дом Серго, Тэдо чудилось: навсегда исчезает, обращается в прах, отмирает все, что воплощал в себе этот злой, никем не любимый человек.

Пёски быстро превращались в ничто. И Тэдо с каждым днем хирел все больше. Тяжелый кашель изнурял его, глаза ввалились, нос заострился. От его бывлой веселой словоохотливости не осталось и следа.

Однажды утром старика не оказалось на Пёсках. Ребята дружно сквырнули его дом. Спешила молодежь — как бы старик снова врасплох не застал.

Будь экскаваторщики и бульдозеристы понаблюдательней, они бы непременно заметили одинокую фигурку старика, прильнувшего в какой-то неестественной позе к перилам Мухранского моста.

Да, это был он, Тэдо, оцепенело наблюдавший, как исчезает его дом, последний дом на Пёсках.

Больше старика никто не видел.

В маленькой квартирке в Глданском массиве, у постели безнадежно больного старого человека собрались его близкие. Они только что выслушали неутешительный диагноз врача, и взгляды их все еще выражали удивление: как могло случиться, что этот совсем еще недавно жизнерадостный, бодрый, вполне здоровый человек в считанные дни зачах и вот теперь обречен на угасание.

Один врач объявил, что «имеет место» воспаление легких с какими-то побочными явлениями, но какими — это так и осталось неизвестным, другой посетовал на отсутствие у больного психологического настроя, столь необходимого в борьбе с недугом, больной, как он выразился, «пал духом и объят душевным безразличием».

...А потом был ничем неприметный, тихий вечер, Тэдо подозвал к себе близких и едва уловимым шепотом наказал:

— Берегите себя... Заботьтесь о детях, пока живы... Схороните меня на Кукийском кладбище... Пронесите по Авлабарскому подъему... остановитесь... стойте... на том месте... откуда... хорошо видно Пёски...

Перевод Бориса ПУГАЧЕВА





# БОЛЬШАЯ РУДА



# МАДНЕУЛИ

## О черк

**Г**ОРОДА рождаются и умирают. По-разному складываются их судьбы. Многие из тех, что были когда-то украшением земли, превратились в руины. Пройдут годы, века, но все так же будут спать в земле мертвые города, пока человек не возродит их к жизни...

Тысячелетия простояли мохнатые синие горы, к подножию которых прилепилось древнее село Казрети. И совсем-совсем недавно зажглись на их склонах огненные строки гигантского транспаранта: «ГОК» — в срок! и за ним — контуры Маднеульского горно-обогатительного комбината.

...Дорога вьется среди живописных, подернутых красноватой дымкой холмов. Винзу, в ущелье, шумит Машавера. Навстречу нам идут гигантские самосвалы, груженные рудой.

Неузнаваемо изменился за последние годы этот возрожденный советскими людьми уголок Месхети. Здесь развернулось огромное строительство. Растут производственные корпуса Маднеульского комбината, кварталы жилых домов. От Маднеули к Казрети бежит электрифицированная лента железной дороги. Маднеули, молодой центр нашей цветной металлургии, должен стать вторым Чхатура.

Здесь богатейшая рудная целина. Безымянные покмест горы и соединяющие их седловины — сплошной рудный массив с огромными запасами цветных металлов. При разведке соседних

месторождений выяснилось, что рудный пояс идет еще дальше. Ученые подсчитали, что разведанная руда по количеству залежей вчетверо превосходит ранее обнаруженную. Четыре раза пришлось пересмотреть проект обогатительного предприятия, мощность которого первоначально была рассчитана на миллионы тонн продукции в год.

В историческом для нашей республики постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию народного хозяйства Грузинской ССР» предусмотрено строительство в Маднеули гидрометаллургического завода. Технология, по которой он будет работать, разработана грузинскими химиками.

С одним из них — академиком Рафаэлом Ильичом Агладзе мы стоим у руин древней крепости, пропуская вереницу грузовиков.

Знаменитые исследователи Кавказа — Вахушти Багратиони, Герман Абиш, Иванэ Джавахишвили — в своих трудах говорили о большом значении металлургии древней Иберии для соседних государств в античную эпоху. В средние века все эти промышленные районы Грузии были уничтожены. Правда, в XVIII веке была сделана попытка восстановления Болнисского месторождения, но она не удалась из-за набегов Омар-хана Аварского, а затем иранского шаха Ага-Магомед-хана.

Археологи по сей день обнаруживают здесь различные произведения искусст-





ва древних умельцев — оружейников и металлургов. Сами названия — Маднеули (Рудное), Поладаури (Стальное) указывают на существование здесь металлургии.

Болниса, подобно Рустави, был одним из самых богатых и укрепленных городов мощного феодального государства. Искусные мастера, владевшие секретом производства булатной стали, ковали мечи и кольчуги, не уступавшие произведениям оружейников Багдада и Исфагана. Из глубины веков, из поколения в поколение несли они свое ремесло; Страбон и Ксенофонт свидетельствуют, что умение плавить металл греки позаимствовали у грузинских племен, а Морган утверждает, что человечество научилось обрабатывать железо у народов Закавказья.

Но это было когда-то. Ныне там, в Цалке, Казрети и других центрах древней грузинской металлургии, находят лишь остатки рудников, сыродутных печей, шлаковых отвалов...

— А знаете ли вы, — говорит Рафаэл Ильич, — что в шестидесятых годах прошлого века в здешних местах — в окрестностях Болниса, в Чатахи — на базе древнего металлургического предприятия был построен небольшой чугунолитейный завод, просуществовавший тринадцать лет; до сих пор сохранились изготовленные этим заводом чугунные перила моста имени Карла Маркса и ограда сада Коммунаров в Тбилиси.

Над Грузией взвилось знамя Советской власти. Началось возрождение многострадальной земли. Коснулось оно и Маднеули. Сюда пришли долгожданные гости, сменившие армейские вещмешки на геологические рюкзаки.

— А все-таки, чем особенно ценно Маднеульское месторождение?

— Своими медными кладовыми. 23 июля 1973 года явилось днем рождения грузинской меди. В этот день извлекли первую тонну медной руды.

...В горах темнеет быстро, и когда мы подъезжали к горно-обогатительному комбинату, небо было уже густо-синим, и в бескрайней его синеве огни на вершинах напоминали свет далеких маяков.

Вот включились прожектора — десятки прожекторов со всех сторон. Корпуса комбината блистают разноцветным ожерельем электрических звезд. Маднеули ночью не просто красив — это удивительное зрелище!

Вдали на шоссе засветились два белых столба мощных фар: спешит автобус со сменой. Для того чтобы комбинат поставлял цветной металлургии страны рудный концентрат с содержанием в нем меди до 25 процентов, ни днем, ни ночью не смолкает в Маднеули гул экскаваторов. День и ночь полы-

хают перед защитными масками сварщиков ослепительные молнии сварки. День и ночь бороздят грунт карьера бульдозеры и буровые машины. Так рождается грузинская медь.

5 января, Первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе под алгодименты собравшихся перерезает алую ленту, протянутую у приемного бункера комбината. Один за другим подходят груженные медной рудой многотонные БелАЗы, и ценное сырье сыпается в бункер, поступает на технологическое оборудование, идет, обогащаясь, дальше, из корпуса в корпус. Маднеульский ГОК — в строю!

Именно о таком дне мечтали геологи, которые еще в начале пятидесятых годов пришли сюда, в горы Месхети. Им предстояло исследовать живописное ущелье реки Машаверы, где предполагались богатые месторождения полезных ископаемых. В октябре 1952 года со стометровой глубины был извлечен «счастливый» керн. Анализ показал наличие в нем ряда ценнейших металлов. Было открыто месторождение медно-барито-полиметаллических руд. Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану здесь было предусмотрено строительство Маднеульского медно-обогатительного комбината.

И вот Маднеульский комбинат — реальность!

Директор комбината Ираклий Константинович Гогитидзе рассказывает:

— Особая ценность маднеульского месторождения в том, что рудное тело здесь подходит близко к поверхности земли. Следовательно, разработки будут вестись наиболее прогрессивным, открытым способом.

...На склонах растут корпуса крупного, среднего и мелкого дробления руд. В главном корпусе монтируются технологические линии: для обогащения медно-колчедановых и для барито-полиметаллических руд. Все производственные процессы здесь механизированы и автоматизированы.

Одновременно с промышленным комплексом возводится новый город горняков. Вокруг девяти-, двенадцати- и шестнадцатизэтажных домов создаются зеленые зоны. В возвышенной части города Маднеули планируется лесопарк.

Когда-то здесь стеной стояли дремучие леса, и не было им ни конца, ни края. Но лес служил топливом для множества плавильных старин...

И все-таки лесов и сейчас много. И водятся в них кабаны, олени. Поэтическая речка Машавера струится, бежит, окаймленная густым кустарником, местами мелководная — телок вброд перейдет, местами глубокая, нырнешь — дна не достанешь.



Комбинат строила вся страна. Бесперебойным потоком шли грузы из Москвы и Свердловска, Красноярска и Иркутска, Новосибирска и Ставрополя, Кемерово, Пензы и Николаева.

На Урупском и Гайском горно-обогатительных и Башкирском медно-серном комбинатах были подготовлены для Маднеули квалифицированные рабочие. Восемь предприятий «Главмеди» командировали сюда специалистов высокой квалификации.

О масштабах строительства можно судить хотя бы по тому, что только на вскрышных работах было снято более 10 миллионов кубометров грунта. Это примерно в десять раз больше, чем на строительстве первой очереди Тбилисского метрополитена. В Маднеули было уложено и смонтировано около 80 тысяч кубических метров бетона и железобетона, смонтировано 15,5 тысячи тонн металлоконструкций. А завтра...

...Я внимательно слушал Ираклия Константиновича Гогитидзе, ветерана строительства, немолодого уже человека с темными пронизательными глазами и седыми висками, и мне вовсе не казалось противоестественным соседство двух столь несхожих понятий, как мечты и цифры. За цифрами он видел живую душу будущего. И в это нельзя было не поверить.

Я твердо убежден в том, что человек и дело взаимосвязаны и формируют друг друга, и, вероятно, я не оригинален в этом убеждении.

Возле нас останавливается огромный БелАЗ. Из кабины высовывается Лери Табидзе, знакомый шофер. Улыбаясь, спрашивает:

— Подвезти?

Табидзе спешит к экскаватору, чтобы взять очередную порцию руды. Он виртуозно управляет белорусским гигантом.

...Как и в тот, навсегда вошедший в историю день...

Федор Баранчуков по пояс высунулся в окно экскаватора.

— Готово!

Груженный доверху глыбами медной руды БелАЗ осторожно тронулся. Первый рейс.

БелАЗ на редкость точно подрулил к бункеру. Первые тонны руды подхватила стальная лента питателя и унесла в корпус крупного дробления.

— Пое-е-е-ха-ла-а! — радостно кричал Отар Асанидзе, бригадир, и тысячи голосов подхватили этот возглас...

...Зимой здесь, в горах, стужа. На морозе леденеют руки. Строители отогревали их у костра и брались за лямки, к которым крепилась труба.

— Раз, два, взяли! — кричал Отар Асанидзе, и бригада дружно тянула в гору 600 килограммов металла. Холм

был покрыт коркой льда, и путь посыпали песком. На отметке 37 метров решили перекурить. Зураб Немсадзе заклинил трубу. Не успел он сделать и десяти шагов, как раздался крик:

— Труба, ребята!

Отар Асанидзе кинулся вверх. Клинья выбило, и труба уже набирала скорость. Мгновенье, и она понесется быстрее бобслейных саней. А внизу люди, техинка...

Зураб и Отар оказались у трубы первыми. Два лома вспороли оледенелую землю и преградили трубе путь. Аварии не произошло.

У Абесалома Джоджуа голос гремит, как из рупора громкоговорителя. Недаром он командовал целой армией экскаваторщиков, бульдозеристов, взрывников.

— Идемте, я вас со своими познакомлю. — И он ведет меня к эксплуатационникам.

Ребят обучали на Ставрополье, в Оренбуржье, Башкирии, где им охотно передавали свои знания и опыт, мастерство. Еще одно яркое проявление дружбы и братства.

...Дробильщик Гурген Окочелидзе включил рубликник. Стальные щеки дробилки начали крушить метровые глыбы руды в аккуратные булыжники. Конвейер нес их в корпус мелкого дробления. Приняв и загрузив сырье в конусную дробилку, Николай Шуянов пустил агрегат. Булыжники быстро стали перемалываться в мелкую гальку.

Мужчина в серой спечовке следил за показаниями приборов.

— Отлично налажена машина, — крикнул ему Николай Шуянов, — молодец, Георгий!

Инженер-наладчик Георгий Хачидзе улыбнулся в ответ.

...В ту зиму на стройку поступили сырые, насквозь промерзшие электроприборы. Начальник пусконаладочного участка Тариел Джиниушавили только развел руками:

— Как быть, ребята?

— Будем сушить, — ответил Георгий Хачидзе.

Тот, кто знаком с электротехникой, знает, что значит высушить высоковольтный привод. Наладчики построили палатку, соорудили самодельный тепловентилятор и запустили его на много дней. Круглые сутки сменяли друг друга на посту Георгий Джапаридзе, Заур Гочиашвили, Борис Хаиндрава, Константин Оравелидзе — все без исключения. А утром шли на работу. Как все. Ночное дежурство не давало им никаких привилегий. Впрочем, они их и не искали — они стояли на вахте пятiletки.

Транспортер загружал бункер главного корпуса мелкой галькой руды. Бун-



кера эти особенные — они вмещают двухдневный запас, и случись на карьере заминка, предприятие не остановится. Из бункера руда двинулась дальше, к шаровой мельнице, которая быстро превратила гальку в тончайшую пудру. Затем флотация — за процессом следит старший флотатор Тамара Дубинина. Машину окружили строители.

— Сейчас начнет всплывать, — сказал Джемал Датуашвили, — смотрите...

...Бурлит и клокочет во флотационной машине пена. Миллионы воздушных пузырьков подхватывают частицы меди, и они, как на аэростате, взлетают вверх. Густо сдобренный медной пудрой раствор идет в сгустители. Здесь он отстаивается, сбрасывает пену и подается на фильтрацию и сушку. Затем медный концентрат отделяется от воды и поступает в контейнеры. Теперь ему предстоит путешествие на медеплавильные заводы страны.

Первую продукцию строители встретили горячими аплодисментами. Победа! Далась она нелегко, но, как сказал один из лучших рабочих «Маднеуль-строа» Заур Алагардашвили, «чем труднее будни, тем радостней праздники».

Время притупляет грани воспоминаний, уносит мелочи деталей, которые иногда и есть самое ценное.

Но в тот день я понял, что видел высшее человеческое счастье. Человек зарабатывает его долго и трудно. А ведь порой годы проходят в суете, в придуманных состояниях и в мелочных конфликтных ситуациях... Человек может так пробыть всю жизнь, и все будет серым для него. И земля, и деревья, и небеса его темны и мрачны.

И вдруг все открывается ему! Запахи гор и лесов, запахи земли и воды. Их соль и их вкус. И небо, небо над головой!..

Вечером в общезитии эксплуатационников я услышал под гитару песню, сложившую кем-то из маднеульцев:

Я взял у радуг многоцветье,  
у звезд похитил их горенье.  
У молний выпросил сверканье,  
у дней весенних — опяненье.  
Я высекаю изваянье  
в краю мечты и вдохновенья.  
А после в каменное сердце  
вложу свое сердцебиенье...

Они воочию видят результаты своего поиска, своего труда. Зовут гореть сердцем, зовут строить и жить.

Одно дело — добывать руду, а другое — получать из нее максимальное количество металла с минимальными затратами труда и средств. Пока горняки прокладывают пути к подземным кладовым, ученые настойчиво ищут, экспериментируют, готовят наиболее подходящую и высокоэффективную тех-

ническую базу для переработки этих кладов.

Поиски эти начались много лет назад, когда партия геологов, возглавляемая молодым в то время специалистом, ныне доктором геолого-минералогических наук Юрием Исаковичем Назаровым, проложила свою первую тропу.

Их ведет множество научных учреждений — и союзных, и республиканских. Расскажу лишь о химиках.

Обсуждались детали строительства медеплавильного завода. Завод нужен — это ясно. У республики появится своя медь. Но с другой стороны...

Рафаэл Ильич Агладзе, Платон Владимирович Гогоришвили смотрели на мелькавшие в окне автомобиля виноградники, сады.

— Когда здесь задымят трубы завода, на километры вокруг не останется клочка покрытой зеленью земли. А потом люди с горечью скажут: вот они — плоды цивилизации!..

Строить завод по традиционной пирометаллургической схеме, разумеется, нельзя. Поездка утвердила ученых в этом мнении. Нужен принципиально новый метод извлечения меди из руды. Найти его — дело химиков.

Сегодня, когда излагают сущность автоклавного метода извлечения меди из руды, все кажется очень простым. Но за сегодняшнее простое и известное заплачено годами труда.

На подготовительную работу при решении «медной проблемы» понадобилось два года. Мало было получить медь из руды в лабораторных условиях. Нужна была выгодная, доступная для освоения технология, которой предстояло лечь в основу строительства будущего завода. Химики буквально переселились в Маднеули.

Совместно с ленинградскими коллегами из института «Гипроникель» была запроектирована и построена в Маднеули полупромышленная автоклавная установка.

Начали подключаться смежные организации. Сотрудники Института неорганической химии и электрохимии АН Грузии предложили параллельно с медью наладить на будущем заводе выпуск сырья для заводов, выпускающих элементы, те самые, что мы используем в фонарях и транзисторах. Ученые Кавказского института минерального сырья установили, что отходы руды, так называемые «хвосты», — прекрасный строительный материал.

Суть автоклавного метода в том, что все процессы протекают в герметических условиях. Благодаря новой технологии удалось создать замкнутый цикл производства, который исключает выделение вредных газов и пыли в атмосферу. К этому химики и стремились. А





3410363000

предварительные расчеты института «Гипроникель», где разрабатывается технико-экономическое обоснование для строительства завода, показали, что автотоклавная технология к тому же экономична.

Хорошо приехать в город, который рождался на твоих глазах, встретить людей, которых знал когда-то, людей, поднявших добрый пласт жизни.

Маднеули меняется на глазах.

В Тбилисском зональном научно-исследовательском и проектно-институте типового и экспериментального проектирования ведется разработка генерального плана его застройки. Здесь будут жить свыше 25 тысяч человек. Город будет состоять из жилых микрорайонов, застроенных 9-, 12-, 16-этажными домами; кинотеатры, Дом культуры, гостиница.

— Здесь все должно быть по-новому, — решили проектировщики ЗНИИЭП.

— Прежде всего — полный комплекс удобств. Чтобы человек, приехавший сюда из большого города, не тосковал по оставленной там комфортабельной квартире, чтобы у него было хорошее настроение.

— Плюс самая компактная, самая экономичная планировка.

Они хотели быть первыми — архитекторы из группы лауреата Государственной премии Константина Чхеидзе.

...Карандаш в его руке все время в движении; разговаривая, он чертит на попавшем под руку листе, и я уже зрительно представляю, как ляжет мост через реку Машавера, как выйдут спроектированный молодыми архитекторами спортивный комплекс, зона отдыха.

Мечтатели, которым греются сказочные города, и реалисты, математическим расчетом проверяющие эту свою мечту.

Впрочем, все здесь мечтатели. Хотя и прочно стоящие на земле.

...Гулкий отзвук взрыва пронесся по склонам гор и растворился где-то далеко в густых цветущих чащах. Скалы сердито переговорили о чем-то и умолкли. Нет, никакого ЧП, конечно, не произошло. Взрыв, который представляется людям грозным разрушите-

лем, перевоплотился во всемогущего создателя.

Ночью карьер казался таким, каким он был до взрывов...

После того, как стихли голоса и над зубцом крепостной стены засветился «звездный циферблат» Большой Медведицы, мечталось особенно зримо.

Припоминаю, что днем говорили мне строители.

Михаил Андреев, водитель большегрузного автосамосвала БелАЗ-540: «В школе, помню, учили: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвести...» Вот и построили город... На всю жизнь запомнится мне 23 июля 1973 года, когда на своем БелАЗе я вывез с карьера первые двадцать семь тонн медной руды, добытой нашими горняками».

Зураб Немсадзе, руководитель бригады бурильщиков горного участка комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени:

«Для нас постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему развитию народного хозяйства Грузии — программа работы. Ну и жизни, конечно...».

Да, Маднеули для них был реальностью еще тогда, когда для большинства он существовал еще только в Директивах XXIV съезда партии.

Но вот приходит день, когда первая борозда перестает быть газетной строкой, когда тебе самому надо ее проложить и тебе совсем не безразлично, как ты это сделаешь и где...

Строители, монтажники и эксплуатационники Маднеульского горно-обогатительного комбината взяли на себя высокое обязательство: ввести его на полную мощность к 7 ноября 1975 года. Сдержать это слово — дело чести, их долг к XXV съезду КПСС.

Здесь, в сердце гор, кипит особо важная стройка.

...Стаи птиц пролетают над вершинами, как и тысячу лет назад, и исчезают вдали, где ветер ласкает траву. И глядя на них, хочется мчаться в эту даль, в этот ветер, путающий волосы. Мчаться туда, где по синему воздуху гор плывут причудливые облака — белые, перламутровые, розовые, точно хранящие отблески всего многоцветья палитры рудных богатств Маднеули.





# Рядом, за горами...

**Б**ЫВАЕТ так: слово поэта, несущее отчетливый отпечаток личности своего создателя, его сугубо индивидуальных представлений о смысле и целях речевого творчества, вместе с тем содержит точную и последовательную характеристику тех путей, по которым движется современный стих, тех стремлений, которые вдохновляют его мастеров. И сразу же возрастает ценность этих строк, — не утрачивая своей прямодушной непосредственности, они приобретают значение обобщающее, вводят нас в просторный мир жизненных, литературных взаимодействий и связей.

Подобным соединением исповедальности и широты отмечены «заметки о художественном творчестве» Кайсына Кулиева, напечатанные во втором и третьем номерах «Дружбы народов» текущего года. «Так растет дерево» — вот какое название он им дал, выразив и здесь свое пристрастие к предметным, объемным образам, свою любовь к природе, уверенность в том, что развитие поэзии должно быть органичным, естественным.

«Заметки» эти говорят о многом и о многих. И все же в этой длинной, разнородной среде раздумий, характеристик, сопоставлений ясно просматривается «сквозная тема» — убеждение, положенное в самую основу статьи, может быть, и побудившее Кулиева взяться за перо. Не однажды дающее себя знать в различных звеньях статьи, пожалуй, с наибольшей рельефностью оно выражено в начальном абзаце раздела «Великий юноша», посвященного Николузу Бараташвили: «Какое это благо, что создания гениев одного народа рано или поздно становятся достоянием и других, как небо и солнце! Как это хорошо, разумно и мудро!» Право же, в этом восклицании, идущем от сердца, — пафос «заметок» Кулиева, написанных вольно, непринужденно и вместе с тем проникнутых единой страстью, присутствующей в каждом повороте той беседы, которую поэт с нами ведет, вспоминая милых его сердцу собратьев.

Первыми в этом ряду он называет безымянных горских поэтов, в чьих песнях запечатлен облик родной земли. И сразу же, с порога, напоминает о том, что «у народов во все времена было гораздо больше общего, чем это кажется на поверхностный взгляд». Сказав так, Кулиев выразил истину, ставшую неотъемлемой частью его духовной личности, его творчества; он подтверждает ее снова и снова, каждой строкою своих «заметок».

Почтительно и нежно говорит поэт о тех своих предшественниках, мастерах камня и дерева, землепашцах и сказочниках, что считали: «Быть без песни — бездомным быть» — и слагали песни, легенды, пословицы, поныне живущие в памяти народа. Тонкий и глубокий анализ позволяет Кулиеву показать, что и в горской поэзии нашла отражение борьба двух культур, по учению Ленина, происходящая в каждой нации; этот анализ дает возможность проследить, как отразились в звонком слове черты жизни горцев, свойственные им мужество, стойкость, сдержанность, жажда справедливости, чувство юмора, многокрасочный спектр чувств, побуждений, наклонностей.

С особенным уважением и любовью Кулиев относится к своему учителю Кязиму Мечиеву, чье имя и судьбу неоднократно вводит и в стиховые строфы. И именно в этой главе с наибольшей полнотой и рельефностью развернуты представления Кайсына о поэзии, вера в силу и прочность ее внутренних свя-



зей, преодолевающих любые временные, пространственные, возрастные преграды.

Уже в первой из «заметок» — «Песни горцев», говоря о том, как «был виден весь могучий Кавказский хребет», балкарский поэт, чтобы придать большую крепость рисуемой им картине, приводит строку Симона Чиковани — «и горы на музыку были похоржи». Эта первая ласточка приводит за собою целую череду обращений к опыту замечательных мастеров слова. Кулиев пишет: «Максим Горький назвал народ величайшим поэтом. Свидетельство этому — и изустная поэзия горцев Кавказа». И несколькими строками ниже: «О характере простых, как принято говорить, тружеников земли одними из самых лучших мне кажутся стихи испанского поэта Антонио Мачадо». Далее — в рассуждениях о любовной лирике — упомянуты шедевры Шекспира и Пушкина, Петрарки и Саят-Новы, Хафиза и Гете. В главе «Кязим Мечиев и восточная поэзия» — как уже было сказано — потребность сближения, сопоставления открытий, что сделаны поэтами разноязычными и разноплеменными, разделенными годами и расстояниями, возрастает. Рядом с почтенным патриархом, мастером балкарского стиха встают Важа Пшавела, Абай Кунанбаев, Коста Хетагуров, Габдулла Тукай; мы узнаем, что его «мятежную в своей основе поэзию... многое роднит с творчеством Лермонтова», что «его огромная искренность чем-то напоминает искренность Александра Блока, несмотря на то, что их биографии, школы, приемы, стиль, образный мир абсолютно различны», что, размышляя о непреходящей важности завоеваний, сделанных крупными художниками, «уместно вспомнить строфу из знаменитого стихотворения великого грузинского поэта Николоза Бараташвили «Мерани» — строфу, начинающуюся словами: «Пусть я умру, порыв не пропадет».

Конечно, обильное упоминание великих имен само по себе еще мало что значит. Оно может оказаться лишь чисто внешним, обманчивым действием, как говорится, пустой отпиской.

Но для Кулиева обращение к поэтам (кстати сказать — не только знаменитым и прославленным, он ведет речь, например, о том, какое неизгладимо сильное впечатление произвело на него стихотворение карачаевского поэта Исы Каракетова «Кавказ») разных стран и веков — постоянная и неодолимая потребность. Он как бы воспитал в себе умение жить интересами, завоеваниями отечественного, мирового искусства, находиться среди его исполнителей создателей, развил способность тесного, сердечного общения с предшественниками и современниками, видя в них сотоварищей и соратников верных пададинов Жизни и Поэзии. Вспомним, что и в стихах его появляются Гарсиа Лорка и Кязим Мечиев, Симон Чиковани и Николай Тихонов. В своей ленинской поэме он, размышляя о том, как сложилась бы его жизнь, если бы не свершилась революция, восклицает:

Так я и жил бы, тяжесть скал кляня,  
И тлел душой, как уголь у жаровен,  
И Лермонтов не встретил бы меня,  
И для меня б не ликовал Бетховен.

Радость, запечатленная в этих словах, навсегда угнездилась в его сердце и строке, стала, как говорится, рабочим состоянием. Отсюда и вполне обоснованное, естественное желание — вовлечь в обсуждение достоинств и утрат родной горской поэзии гениев и талантов Севера и Юга, Востока и Запада, живших столетия назад или совсем недавно от нас ушедших...

Подобного рода воля к общению лишена и малой доли односторонности; она предполагает деятельную обоюдность. Иными словами, привлекая к характеристике творчества своих земляков, к измерению ее достоинств и особенностей всех любимых им поэтов, когда бы и где бы они ни жили, на каком бы языке ни были написаны их стихи, Кулиев совершает и обратное, встречное движение: он ведет речь об отличительных чертах горской поэзии отнюдь не для того, чтобы противопоставить ее всем другим отрядам работников стиха, а, напротив, чтобы соровница, найденные, добытые горцами, сделать всеобщим достоянием.

Разумеется, Кулиев не исключителен, не одинок в этой своей решимости сочетать восприимчивость и щедрость. Дух взаимотяготения и трудового содружества господствует в советской литературе. Можно привести тому в подтверждение множество фактов, о которых свидетельствуют статьи, речи, а главное — книги. И все же это обстоятельство ни в малой мере не снижает остроты чувств, вызываемых «заметками» Кулиева. Потому что, во-первых, самые глубокие и общие закономерности искусства выступают с живой, реальной осязаемостью прежде всего в неповторимости писательских поисков и свершений. Во-вторых, диалектика ввода национально своеобразных образов в широкоохват-





ный мир социалистического искусства заявляет о себе с чрезвычайной экспрессией, когда мы обращаемся к горской поэзии, что в течение многих лет была обособленно, замкнуто, а теперь сразу явила себя миллионам читателей, быстро установив прочные связи с огромным миром, тотчас показав, как много она может дать ему и как много хочет от него взять.

И наконец, в-третьих, сам по себе Кайсын Кулиев так властно и спокойно вошел в наши умы и сердца своими стихами, передающими обаяние благородного и художественного поэтического характера, его стихи и поэмы заняли такое заметное и достойное место в современной поэзии, что его суждения для нас важны и существенны.

Как мы уже убедились, наше доверие не обмануто. И не только потому, что балкарский мастер стиха красноречиво, убежденно рассказал о том, чем сильны горские стихи и что именно вносят они в разностороннее и целостное, противоречивое и мощное развитие социалистической, а через нее и мировой поэзии. Сверх того, нас восхитила прелесть кулиевской прозы, каждый период которой свидетельствует о том, что она создана художником, владеющим тайнами стихового слова и умеющим находить для них ясные определения, не лишая, однако, их свойственной им чудесности.

Вот что пишет он в разделе «Великий юноша»: «Я только что возвратился из Грузии и полон ее красками, звуками, кизилowymi рассветами, сумерками, синевой неба над Крестовым перевалом, чудом близины Казбека, неожиданно возникающего перед глазами, сурово тянущимися вверх скалами Дарьяла, шуршанием дождя над зелеными платанами Тбилиси, голосами и улыбками моих друзей — грузинских поэтов. И эти мои слова — слова влюбленного человека. Я говорю о своей любви к Грузии, к ее культуре, к ее поэзии, завовавшей нас своей высокой мощью и эмоциональностью. Народ, живущий на такой поэтической земле, народ, история которого полна драматизма борьбы за свою свободу, такой мужественный, эмоциональный, душевно открытый, не мог не иметь достойных его поэтов. Потому вполне естественно и появление в Грузии Руставели, Бараташвили, Пшавела, а также прекрасной плеяды продолжателей их дела. Выражая свое восхищение грузинской поэзией, мы каждый раз выражаем свою любовь к грузинскому народу, обогатившему всех, кому дорога культура человечества».

Снова — теперь в себеде о грузинской поэзии — выдвинут высокий критерий: ценность творений национальной поэзии для всей социалистической и мировой культуры. И это — в стихах, воссоздающих красоту Грузии, очарование ее земли, силу ее стиха! Да, у Кулиева слово насыщено мыслью, а душа пластична, предметна...

Опять-таки — овеществленность переживаний и впечатлений, столь характерная для образного строя кулиевской речи, осознана и подтверждена самим поэтом. О поэме Мечиева сказано, что она пронизана «горской образностью, вещной, предметной». Истоки стиховой традиции, корни метафорических связей он обнаруживает в недрах народной жизни. «В своих песнях горцы в час торжества или беды нередко обращаются к горе, дереву или реке, ища у них помощи, как бы считая их своей опорой, подержкой, утешением». И еще: «Я как литератор многим обязан камню. В горах он особый. Как это ни странно, камень учил меня мыслить, учил сдержанности, оберегал, как и деревья от многословия и болтливости в стихах, камнем гор порождены многие мои мысли, как бы скромны они ни были». Эти «рассуждающие», «объясняющие» строки объясняют, в частности, и происхождение книги Кулиева «Раненый камень». А вместе с тем они и сами образны, иносказательны. Читая и другие «заметки» балкарского поэта, мы удостаиваемся в том, что и проза, и стихи его дышат предметной образностью. Главу, посвященную Кязиму Мечиеву, он начинает таким уподоблением: «Пусть это мое слово будет вроде тех маленьких сухих сучьев, которые первыми кландут в костер, когда его разжигают, в костер, где потом горят большие поленья»... Далее, о Кязиме: «Он вырастал из родной почвы, как скала или дерево». О песне — стихотворении Я. П. Полонского, пришедшем на ум поэту в часы битвы и его поддержавшем: «Благодарю тебя, горячая и добрая песня. Ты — ласточка в полете, дрожание листа на березе, звон ручья на заре». Бесспорно, Кулиев имел достаточно оснований, чтобы подчеркивать пластичность горского стиха!

Да и только ли горского! Вот Симон Чиковани, глядя на древнюю Мцхету, замечает: «И мое, как след реза на камне, уцелело в бурях бытия» (перевод А. Тарковского); Карло Каладзе, стоя у развалин храма Баграта в Кутанси, восклицает: «Я — плита, я обломок груди Баграта, развалина древнего храма, гигантами высеченного когда-то» (перевод Э. Котляр); Иосиф Нонешвили, сопрягая поэзию, радость плоти, думы о вечном, наблюдает, как «тянутся скалка, вино и бессмертне» (перевод А. Ароновой); и у Хута Берулава — «все пе-



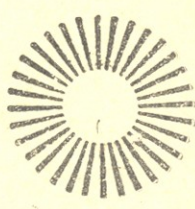


рекликается, и птица рвется в облака, и облака переливаются, и проливается строка» (перевод Б. Окуджава). А у Реваза Маргиани гора Твалда, стоящая над его родным селом, становится истоком песенного слова, отдает ему чистоту своих рос, аромат трав, сверканье кос на ее склонах... Все эти «предметные» ступки входят в совершенно различные образные системы, но присутствуют-то они непременно!

Вот почему близость Кулиева к своим иноязычным друзьям вовсе не умозрительна, а вполне реальна, можно даже сказать — предметна. И это не единственная линия связи. Пишет балкарский поэт: «горский крестьянин всегда оставался воином, его в любой час мог призвать к бою огонь тревоги, зажженной на вершине горы. Были времена, когда моим землякам приходилось днем сражаться, а ночью пахать землю, нередко в аулах могил оказывалось больше, чем жителей». Как тут не вспомнить стихотворение Григола Абашидзе «Вечно в доспехах»: «Пахал ли он, у лоз менял тростины, работал ли, иль пировал, когда справлял обычай, милый и старинный, свой щит и меч с собой носил всегда» (перевод Н. Тихонова).

Свежие решения находят поэты, обращаясь к героическому прошлому своего народа. О подвиге трехсот арагвинцев напоминает Симон Чиковани. Для Шота Нишнианидзе старая крепость — «и плакальщица, и заступница» (перевод Д. Голубкова); Шалва Амисулашвили объясняет, почему называли люди крепость — «Бакурцихе»... А Карло Каладзе воспевае башни Грузии — и те, сторожевые, чей долг был «огнями возвещать о нападеньи», и те, новые, высоковольтные, что «иной — счастливый дарят свет» (перевод Евг. Евтушенко). Стремление постичь взаимодействие минувших и нынешних трудов, надежд, битв рождает новые и новые образы у народов, имеющих подчас совсем несхожее прошлое и единое, общее будущее. Разнородные творческие пути, казалось бы, идущие параллельно, вдруг пересекаются, сплетаются, не теряя при этом своеобразие, и тогда особенно очевидным, наглядным становится внутреннее единство нашей поэзии.

Это коренное, духовное, социальное сродство, нередко отраженное и в личной приязни, позволило Кулиеву так сердечно и пронизательно рассказать о Тициане Табидзе, о Георгии Леонидзе, бережно улавливая, закрепляя драгоценные крупницы наблюдений. И здесь же названы те, кого любит, а то и с кем дружил, дружит поэт: Есенин и Ахматова, Пастернак и Твардовский, о которых, надеемся, он еще расскажет нам. И не только о них! Ведь звучали же в его стихах имена Гарсии Лорки, Николая Тихонова, Симона Чиковани. Все это круг друзей Кулиева, та плотная, мощная среда поэтических свершений и влияний, без которой он себя не мыслит и к которой принадлежит всем своим существом. Об одном из важнейших принципов, действующих в этом высоком, строгом, великодушном сообществе, ненароком сказал Симон Чиковани в «Песне о Давиде Гурамишвили», передавая душевное состояние своего замечательного героя, — «о, как он жаждет встретиться с братом»... Эта великолепная жажда известна и нашим современникам. И сама она, и ее утоление — добрые движущие силы нашей поэзии.







# ВТОРГАЯСЬ

# В ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

**В** ПОСЛЕДНИЕ два десятилетия грузинская советская проза достигла высоких творческих рубежей. Менее чем за четверть века создан ряд значительных по своим идейно-содержательным и художественным качествам произведений, которые прочно вошли в актив многонациональной советской литературы и ознаменовали несомненный подъем современной грузинской беллетристики.

Для роста и творческого совершенствования национальной прозы решающее значение имело ее пополнение новыми творческими силами, которые привнесли в грузинскую беллетристику новые темы, новые проблемы, новые аспекты; они дополнили ее новыми характерами, образами, новыми чертами современного человека; внеся разнообразие в нашу прозу как в идейно-тематическом, так и художественно-стилистическом отношении, эти авторы обогатили рядом специфических черт традиционные жанровые формы, придав им новое идейное звучание и художественный резонанс.

За это время наиболее ощутимо развился роман. Став более многоплановым, он содержит ярко выраженное стремление к максимальному охвату специфических черт этой жанровой формы.

С течением времени характерные стороны такого синтезированного романа выкристаллизовываются все более четко и полно.

Начиная с двадцатых годов нашего столетия и вплоть до послевоенного периода в грузинской прозе преимущественно был распространен ситуационный роман, для которого главным средством передачи содержания являлось повествование. В романе такого вида сюжет создавался большей частью с помощью событийных ситуаций, когда преобладающее значение придавалось развитию и смене событий, когда основным средством раскрытия идеи было положение, а не углубленная, психологическая мотивировка характеров. Иными словами, на раскрытие человеческих образов изнутри возлагалась сравнительно скромная, подчиненная функция.

Характерный для большинства беллетристических образцов раннего периода повествовательный элемент с перенесением внимания на сюжетную динамику постепенно уступал место психологическому углублению в материал. В итоге в прозе последнего двадцатилетия одним из определяющих признаков становится заметное стирание граней между сочинениями, построенными на описании внешней стороны явлений и основанными на развернутом показе внутреннего, духовного мира человека. Короче говоря, между ситуационным и психологическим романами.

Конечно, это не означает, что для лучших произведений довоенного и военного периодов были чужды психологическая глубина или сюжетная динамика и занимательность. Органическое сосуществование этих двух моментов и раньше не являлось редким исключением, но история грузинской советской прозы показывает, что их более естественная, органическая и прочная связь пре-



имущественно отмечается в современный период развития грузинской литературы.

Вследствие неправильного тематического деления на произведения санные на «колхозную», «промышленную» тему и об интеллигенции, произошло отдаление различных видов прозы, повлекшее за собой тематическую и жанровую узость, ограниченность. В настоящее время грузинские беллетристы смело рушат эти искусственно созданные преграды. Они не только в единстве отображают труд и деятельность представителей различных общественных категорий (что дает более полную и глубокую картину современной жизни), но и умело объединяют психологическую и внешне-ситуационную характеристики. Большинство лучших образцов современной грузинской прозы отмечено именно такой качественно новой особенностью.

Такой «синтезированный» характер носит и роман известного грузинского писателя Алио Адама «Большая и маленькая Екатерины», сокращенный перевод которого на русский язык был опубликован в журнале «Литературная Грузия». Это примечательное во многих отношениях произведение уже успело привлечь к себе пристальное внимание и грузинской критики, и широкой общественности.

Грузинскому читателю хорошо знаком творческий облик Алио Адама, чьи стихи, рассказы, очерки, статьи, появляющиеся в грузинской прессе с тридцатых годов, всегда отмечены своеобразием авторского почерка, написаны проникновенно, искренне и поистине поэтично.

Правда, Алио Адама принадлежит к разряду «скупых» авторов, пишущих не так уже много, но вот после продолжительного молчания он неожиданно предстал перед нами в совершенно новом качестве, создав серьезный и интересный в художественном отношении роман о злободневных проблемах современности. Отрадно, что это произведение именно той категории, которое вносит в нашу прозу определенную свежесть и новизну.

Став в последние десятилетия свидетелями перехода грузинских поэтов в прозу, мы со всей убежденностью можем говорить о весьма положительных результатах подобного явления, обогатившего изобразительные средства этого жанра, расширившего его диапазон более полной и тонкой передачей прочувствованного и передуманного.

Неизменно являясь жанром самых мощных, поистине неисчерпаемых возможностей развернутого реалистического показа современности, проза по своей действительной силе стоит вне конкуренции. Поэтому и впредь она будет оставаться столь притягательной для художников слова. Переход из поэзии в беллетристику (будь он временным или постоянным) не только один из путей пополнения отряда прозаиков, но и неизбежное в литературной жизни явление.

Как и других грузинских поэтов, Алио Адама привели в прозу те же причины. Но у него для этого была еще такая немаловажная предпосылка, как известный опыт в поэтическом эпосе. Умение работать над сюжетом, характером, композицией безусловно облегчает становление поэта-эпика как прозаика. И опыт Алио Адама — автора рассказов и пьес, мастера стихов, — видимо, не мог не сказаться на формировании его как романиста.

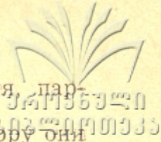
Роман А. Адама — произведение, достойное внимания во многих отношениях. Он примечателен как по своим положительным качествам, так и по некоторым недостаткам.

«Большую и маленькую Екатерину» отличает определенная тематическая полифония. Автор сумел дать в одном сюжетном клубке многокрасочное сплетение событий. Каждая из «нитей» повествования имеет собственный сюжет, узел и кульминацию, свой драматизм, идейно-содержательный и оценочный характер. Такая продуманная дифференциация событий, разветвленность сюжета обогащает произведение жизненными примерами, конкретными фактами, придающими достоверность и убедительность повествованию. В силу этого в конечном счете картина сложной современной жизни становится более полной и правдивой.

Подняв ряд злободневных вопросов, писатель охватил весьма богатую проблематику. Его тревожит и симптом опустения современного села, и неудержимое стремление сельской молодежи в города, и досадные ошибки в планировании народного хозяйства, и непомерный рост научных кадров, и вред, причиненный делу равнодушными, бесталанными руководителями, и еще многое, многое другое.

Все эти достойные сожаления негативные явления, за искоренение которых сегодня с такой принципиальностью борется общественность нашей республики, были характерны для нашего не столь далекого прошлого, когда взяточничество, коррупция, протекционизм, бюрократизм овладели многими «душа-





ми», приведя к грубому нарушению норм социалистического общежития, партийной этики, общественной дисциплины.

К чести многих грузинских писателей надо сказать, что еще в ту пору они выступали против этих отклонений. Именно тогда писался и роман Алио Адама, чем в значительной степени объясняется его критическая направленность, обусловленная здоровой гражданской позицией автора.

В самом деле, разве редко было встретить в Грузии секретарей райкомов, похожих на одного из героев романа — Константина Какубери? Они управляли районом по принципу панибратства, кумовства, грубого волеизъявления; показательный демократизм и «народность» считались их главными достоинствами; они красиво говорили и ловко действовали, руководствуясь корыстными целями.

Многие участки нашей жизни находились в руках отъявленных дельцов, которые благодаря ворованным деньгам представляли собой силу, крайне трудно поддающуюся искоренению.

Авантюризм, стремление к обогащению писатель показал на примере одного из персонажей романа — Шадимана Шаранга. Его раздвоенность — следствие тех вредных тенденций, которые имели весьма глубокие корни.

Шадиман по образованию историк. Учился он и на философском факультете. Но, распрощавшись с науками, стал заведовать столовой. Теперь, как свои пять пальцев, он знает рынок официальный и нелегальный. Но, как выяснится впоследствии, это человек с неутоленной жаждой честно трудиться. А разве мало было таких «кразбойников поневоле», которых чужой пример, требование начальника или утвердившийся в учреждении «порядок» толкали на мошенничество?

Немало знали мы и высокомерных профессоров, подобных выведенному Алио Адама Силовану Рамишвили. Вся их научная деятельность определена личными интересами, симпатиями и антипатиями, узко эгоистическими целями. Именно такие лицеушны устривают юбилей, требуют наград, «расправляются» с неугодными им противниками, ловко держат в тени молодых коллег, проявляя показную заботу о них.

Эпическое полотно сродни зданию, которое, несмотря на внешнюю привлекательность, монументальность, отталкивает своим безлюдием и холодностью. И напротив — непрезентабельное со стороны, но населенное интересными людьми, оно излучает тепло.

Ценность художественного произведения как раз и обусловлена живущими в этом «здании» людьми, на профессиональном языке именуемыми персонажами. Только они, а не самоцельные сюжетно-композиционные ходы, придают ему жизненную силу.

Как на определенной кубатуре жилой площади при соблюдении всех норм можно поселить лишь соответствующее ей количество жильцов, так и в художественном произведении того или иного сюжетного «объема» тоже допустимо дитоемое им число персонажей. А то, что свыше этого, идет в ущерб другим. И художественное чутье писателя, прежде всего, сказывается в способности точно распределить сюжетные возможности «жилой площади» своего произведения, в умении определить соотношение между сущностью и количеством персонажей.

Сюжет романа Алио Адама, несмотря на обильно представленные в нем (хотя и несколько замедляющие темп повествования) отступления — воспоминания, сновидения, привидения, — достаточно собран и логичен, удобен и вместителен для реализации замысла писателя.

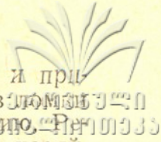
Автор с самого начала вводит в действие главного героя — Реваза Чапичадзе, который приходит в семью своей невесты Русудан Диасамидзе, надменные члены которой неизвестно почему считают себя представителями интеллектуальной элиты.

Поначалу писатель относится к Ревазу с беззлобным юмором. Видимо, не знает еще, во что «выльется» этот скромный, неразговорчивый, провинциальный юноша, не лишенный целеустремленности и трудолюбия. Очевидно, такая сдержанность вызвана качествами той семьи, зятем которой должен стать Реваз.

Сыну крестьянина-труженика, выросшему и возмужавшему на селе, чужд образ жизни оторванных от народа интеллигентов. На первых порах он кажется скованным и невыразительным. Трудно сказать, свойства ли это самого образа или особый прием, когда художественное прояснение характера отложено на будущее. Ответ на этот вопрос дает дальнейшее развитие действия, ставя читателя перед «маленьким открытием», каких в романе немало. Они расставлены словно капканы, мобилизуя внимание читателя, активизируя его эстетическое сопереживание.

Таким образом, конфликт создается в самом начале романа, поскольку будущие супруги, в силу различий в воспитании, стремлениях, идеалах и понимании общественного долга, если не антиподы, то во всяком случае существа, очень далеко отстоящие друг от друга.





Дочь профессора полагала, что ее муж тоже станет профессором и привычная, тихая, невозмутимая жизнь их потечет без видимых перемен, без установленных правил и привычек. Но она ошиблась: защитив диссертацию, Реваз решает вернуться в родное село, добиться его возрождения на новой хозяйственной основе. К слову сказать, это село ничем не отличается от других ни по природным данным, ни по потенциальным возможностям, предопределяющим его перспективу. А без этого сегодня не может развиваться ни один населенный пункт. Автор понимает это и в качестве экономической основы будущего развития Хемагали намечает шелководство. С познавательной точки зрения это несколько наивно, но чисто «техническая», хозяйственная основа проблемы не имеет особого значения, поскольку судьба Хемагали воспринимается скорее как явление, типичное для некоторых грузинских сел.

Подобная судьба — опустение, утечка населения — постигла многие поселки и села не только нагорья, но и низменных районов Грузии. И нужны самые энергичные меры, неослабное внимание и забота, чтобы находящиеся в стороне от экономической магистрали села не опустели. Это одна из главных забот писателя, и естественно, что она обусловила характер и своеобразие главного конфликта его произведения.

Правда, автор не дает картины той внутренней борьбы, в результате которой Реваз принял свое решение (видимо, это и не входит в его задачу), но он вполне убедительно и впечатляюще обрисовал психологические предпосылки, приведшие его к нему, художественно достоверно показал твердость в борьбе за осуществление поставленной цели.

Перед нами некогда многолюдное село, в котором осталось только несколько «могилок», а в школу, где когда-то учился сам Реваз, сейчас ходят всего семнадцать детей.

Итак, конфликт, который в самом же начале романа становится понятным, имеет два плана: лично-семейный, обусловленный теми противоречиями, которые порождены расхождением между стремлениями и желаниями супругов (мужа привлекает село и он хочет жить там, а жену — город; муж считает целью жизни высокие общественные интересы, а жена имеет узкое представление о счастье), и общественный, проявляющийся в отношениях главного героя с людьми, с которыми он встречается в деле. Мы имеем в виду конфликты, определяющие развитие сюжета, так как в романе, кроме них, есть и много других, менее значительных, придающих ему жизненность и правдивость.

Роман Алио Адама — произведение остроконфликтное, с исключительно злободневной проблематикой и интересной жизненной тематикой. В его сюжетном развитии четко выделяются два очага, вокруг которых концентрируется действие. Это — семья профессора Нико Диасамидзе и окружение старого крестьянина-колхозника Александрэ Чапичадзе. Взаимоотношения этих двух кругов сюжетно объединяются в самом начале романа: дочь Нико Русудан выходит замуж за сына Александрэ. Так создается третий регион, представители которого становятся главными фигурами произведения. Психологическая подоплека их взаимоотношений перерастает в ведущую тенденцию романа. В дальнейшем автор словно забывает членов семьи Диасамидзе и главное свое внимание сосредотачивает, с одной стороны, на окружении Александрэ и Реваза Чапичадзе, с другой — на связанных с ними сельских учителях «маленькой» и «большой» Екатеринках. Именно благодаря им и возрождается село Хемагали. Эти люди, с чистой душой, преисполненные энергии и бодрости, как раз и воплощают авторскую идею, делают очевидной его позицию.

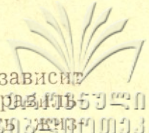
Окружение Чапичадзе и Екатерин создает ту взаимосвязанную фабульную среду, в которой развивается действие романа. Кроме того, с каждым из них связаны определенные люди, история жизни которых, их прошлое и настоящее расширяют круг повествования, способствуя отражению действительности, углубляя содержательную сторону, а все вместе взятое дает более полную картину современной жизни.

Сюжетная канва с показом различной среды определяет композиционный строй романа, его довольно сложную структуру. Здесь сюжет логично, просто и естественно переходит в последовательное повествование, в отличие от некоторых современных романов, где фабульная основа совершенно не соответствует, а в некоторых случаях прямо противоречит последовательности передачи содержания, внутренней структуре произведения.

Но в одном все же надо упрекнуть автора: иногда он слишком надолго оставляет своих героев (Нико, Текле, Звиада, Лили). А столь продолжительные паузы в показе персонажей вряд ли приемлемы даже для многопланового романа.

Но, как правило, Алио Адама стремится к уплотненной, конденсированной форме. Он располагает значительно большим материалом, чем тот, который использует. Это хорошее свойство, но все же чрезмерное насилие над материалом не всегда оправдано.





Убедительность художественного произведения в значительной мере зависит от тех задач, которые писатель возлагает на своих персонажей. Но неправда, но намеченная художественная задача может роковым образом исказить истинную правду.

Использованные Алио Адамина «регионы» позволяют ему компетентно коснуться различных сторон нашей жизни. Так, например, показ среды ученых создает естественные условия для передачи быта творческой и научной интеллигенции, для суждений о науке, живописи, культуре; круг преподавателей — для спора о судьбе школьного образования и моральном облике молодежи; колхозное крестьянство и руководители района — для раздумий о сегодняшнем селе и его злободневной проблематике и так далее. В этом отношении тщательно, рационально отобранный типаж говорит о чутье и такте автора, о своем видении жизни. При этом он острым глазом критика оценивает действительность, безжалостно осуждая вредные тенденции.

Сюжет романа представляет историю формирования характеров и их взаимоотношений. По этой причине в качестве показателя положительно организованной сюжетной канвы, мерила ее содержательной «емкости» прежде всего выступают характеры. Поскольку же именно в них конкретно воплощаются и конфликт, и авторская тенденция романа, мы остановимся на ведущих его характерах.

Как уже отмечалось выше, роман начинается со знакомства с семьей профессора Нико Диасамидзе. Несмотря на несколько силуэтную манеру характеристики персонажей, образ Нико представлен довольно колоритно. Но этот колорит проистекает не столько из некоторых индивидуальных свойств его натуры (навязчивые слова-выражения, менторский тон, показные странности), сколько из самой его биографии и отношения к другим персонажам. Нико — сын крестьянина. Его отец делал арбы. После переселения в Тбилиси и смерти отца мать не оставила родного очага. Она удочерила бедную соседскую девочку и ее тоже выдала замуж за аробного мастера. Эта несколько странная старушка полюбила ребенка удочеренной девочки больше своих родных внуков и видела в нем источник своего счастья.

Оторванный от своего очага «батони Нико» (так называет его автор) и в городе не очень преуспел. Он оказался довольно «скромным» служителем науки и, видимо, только в собственной семье его считают «настоящим» ученым.

Мысли, которые занимают «уважаемого» Нико, характеризуют его умственные возможности и интеллектуальный уровень: «...Человек рождается, открывает глаза и становится на ноги, учится ходить, вооружен — глаза видят, уши слышат! Впереди простирается жизненный путь, и ступает он на этот путь, идет и идет, идет по подъемам и спускам, по тропинкам и широким дорогам, через овраги и пропасти. Постепенно устает, бродя по дорогам, очень устает и, сочтя пройденной свою долю пути, уходит из этого мира...» Этот внутренний монолог — прекрасная характеристика псевдомудрости, псевдофилософии. Даже одного этого штриха достаточно для обрисовки Нико. Такие конденсированные характеристики, помогающие создать законченный портрет, особенно удаются Алио Адамина.

Профессора Нико Диасамидзе мы узнаем в основном по тому, что думают о нем или как относятся к нему коллеги; но, надо полагать, уважение это в большей мере продиктовано столь принятым в Грузии традиционным почтительным отношением к старшим, чем истинными достоинствами Нико. Это тоже заставляет серьезно задуматься: кто знает, сколько ложных богов мы превратили в фетиш, сколько ложных кумиров создали и в науке и, особенно, в литературе.

В характеристике Нико Диасамидзе нередко чувствуется насмешливо-шуточный тон, а иногда проявляется и гротескный элемент. Он «...в двенадцать часов идет в институт истории. Его портфель весьма велик, похож на увесистый чемодан. Кабинет Нико расположен на третьем этаже и ему трудно поднять портфель на третий этаж, поэтому он оставляет его у входа, дежурному. Дежурный прекрасно знает, что в портфеле уважаемого профессора находится приготовленная к изданию рукопись книги, начисто перепечатанная на машинке». Свой труд «Землепользование в феодальной Грузии» Нико писал на протяжении многих лет. Два года назад он представил свое исследование в издательство. А там на основании взаимоисключающих заключений рецензентов дважды заставили его переработать и, что самое главное, в двух диаметрально противоположных направлениях.

Такая гротескно-юмористическая окраска зачастую нарушает полную восприятия реалистического характера, умаляет его познавательную ценность. Конечно, ученые, подобные Нико, к сожалению, еще часто встречаются и они действительно готовы любой ценой издать свой с грехом пополам состряпан-





ный труд. Но, несмотря на некоторые жизненные признаки и реалистические штрихи, образ профессора Нико Диасамидзе скорее напоминает тех «старых» ученых, которых порою можно встретить в современных романах и пьесах. Это какие-то полувывжившие из ума существа, поставленные на искусственные ходули. А таких всецело ушедших в себя, лишенных всякого практицизма профессоров сегодня скорее встретишь в книгах, чем в живой действительности. И образ Нико Диасамидзе представляется нам характером, больше навеянным литературными реминисценциями, чем жизнью. К тому же лишённые таланта искатели легких путей при выборе специальности больше тяготеют к «актуальным» и «современным» наукам и весьма редко посвящают себя изучению истории.

Но этот несколько противоречивый и искусственный характер все же имеет познавательное и воспитательное значение. Он еще раз делает очевидной ту старую истину, что неспособные, тусклые и бесхребетные люди всегда и везде, в собственной семье и на работе воспитывают подобных же себе безликих, равнодушных существ, заражая их своим индифферентизмом. И пока сын Нико — Звиад, находился под влиянием отца и в атмосфере отцовской семьи, он был таким же вялым, бесцветным, скептически настроенным молодым человеком. Но стоило ему найти свою дорогу в жизни, как он преобразился, став полноценным, полезным для общества человеком.

Звиад окончил аспирантуру и работал ассистентом в одном из вузов, одновременно готовясь к защите диссертации. В первой главе показано, как ее «провалили». Вполне справедливую отрицательную оценку, которую Ученый совет дал его работе, семья Диасамидзе восприняла как спровоцированный провал. Агроном одного из колхозов в нескольких словах доказал ошибочность главных положений диссертации Звиада. Именно с этой драматической сцены и начинается роман: у Диасамидзе накрыт праздничный стол, все ждут диссертанта с победой и вдруг узнают о его неудаче.

В связи с этим эпизодом возникает другой исключительно важный вопрос о вреде протекционизма, взаимного протаскивания в науке. «Физкультурником был — бегуном! В институт физкультуры хотел поступить, но мой крестьянский «предсказал» — механизация сельского хозяйства имеет большое будущее, и я оказался в сельскохозяйственном институте. Талант бегуна и здесь сильно помог; боже, благослови физкультуру».

Впечатляюще показывает автор неодолимую силу призвания, пренебрежение которым зачастую оборачивается для человека роковым образом. Займись Звиад с самого начала любимым делом, не было бы ненужной ломки. Но «благожелатели» всех мастей одолели; желая сделать из него видного ученого, они сослужили медвежью услугу и юноше, и тому делу, в которое «ввели» его. К сожалению, благодаря протекционизму такое «устраивание» стало довольно распространенной болезнью.

Писатель показывает и тот вред, который приносят некоторые чрезмерно честолюбивые «известные ученые». Именно таков безмерно самоуверенный и возгордившийся профессор Силован Рамишвили, в споре которого с молодыми учеными Дочивир и Цхададзе проявляются две различные позиции в понимании гражданского долга.

Интересен, впечатляющ образ дочери Нико Русудан. Несмотря на то, что он тоже дан в несколько силуэтной манере, нельзя не ощутить сложности этого резко индивидуализированного характера.

«Интеллектуальная проза», о которой сейчас так много говорят и у нас и за рубежом, помимо вторжения в художественное произведение философского, концептуального начала и исходящих из этого содержательно-стилистических особенностей (возросшая роль субъективного момента, превалирование мысли над жизненными фактами, чрезмерное логизирование характеров, своеобразный стиль и др.), подразумевает еще возросший интерес к философскому осмыслению человеческих образов-характеров. Выражается это в стремлении не только обрисовать «интеллектуальных великанов», «сверхлюдей», преисполненных таланта и знаний, но и раскрыть «изнутри» ставшего объектом художественного изображения человека любой категории преимущественно с целью уяснения его интеллектуально-психологической сущности. Хотя Ално Адамна и не ставит перед собой такой творческой задачи, в осмыслении характеров он в значительной мере приближается к этому своеобразному принципу изображения.

После окончания Академии художеств Русудан преподает в художественном техникуме. Муж построил ей мастерскую, но она рисует редко и ни в одной выставке не принимает участия. Русудан чувствует, что лишена истинного таланта. Она знает, что умение перенести увиденное на полотно, как бы точно и технически совершенно это ни было выполнено, еще не означает



истинного творчества. И потому так же безжалостно, как о себе, судит обо всех своих сверстниках-художниках.

Но ее поразили картины художника-самоучки, колхозного рыбака, Даши Одishaрия. Они просто околдовали Русудан подлинным вдохновением, неуверенным творческим импульсом, которого как раз и не было у нее, что еще на втором курсе заметил преподаватель живописи. Однако Русудан не прислушалась тогда к его совету. Она только возненавидела его за это. Русудан — живущий по прихоти сердца индивидуалист; ее мучают отсутствие веры в свои силы, страх перед собственной бесталанностью, заставляющие отказываться от плодотворной деятельности.

Интересны суждения писателя об изобразительном искусстве, в частности о живописи, о призвании и таланте. В романе много рассуждений о литературе, науке, культуре, но не самоцельных, а призванных раскрыть художественные образы, выявить их сущность. Это увеличивает познавательную ценность произведения, приближая его к злободневной проблематике, к жизни творческой интеллигенции.

На примере трех представителей семьи Диасамидзе автор поднимает исключительно актуальную проблему: не только талант позволяет человеку одержать победу в жизни, но и преданность делу, старание, твердость характера, патриотическое чувство, любовь к народу и вера в его силы, внутренняя дисциплина, высокое чувство ответственности, желание творить добро. А именно эти качества отсутствуют у Нико, Звиада и Русудан Диасамидзе.

И как раз благодаря этим высоким качествам смог Реваз Чапичадзе взяться за решение весьма важной и сложной проблемы, возглавить полезное для страны дело и одержать победу.

На примере конкретных судеб ненавязчиво, без ложной патетики писатель утверждает насущную необходимость общественной заинтересованности, ответственности, гражданской активности.

По идейно-содержательной нагрузке, а также с точки зрения воздействия на судьбу других персонажей главным героем романа является Реваз Чапичадзе. Его роль и значение в передаче событий настолько велики, что произведение с таким же основанием можно было назвать «Реваз Чапичадзе», как «Большая и маленькая Екатерины».

Несмотря на это, удельный вес этого образа в сюжетном развитии романа не так уж велик. Видимо, потому, что автор рисует главного героя весьма своеобразно: он показывает его не столько в непосредственном действии, сколько глазами других персонажей, в чужой оценке, через жизнь и деятельность других людей. С первого взгляда такой характер может показаться несколько схематичным в отличие от эпических характеров, выполненных в обычной манере.

Способ, примененный для создания образа Чапичадзе, можно назвать нюансным, поскольку, во-первых, автор показывает сущность Реваса как бы «издалека», с помощью деталей, хотя и связанных с другими действующими лицами, но предназначенных для характеристики его натуры, и, во-вторых, представляет своего героя в различных ракурсах, каждый раз прибегая к выразительным подробностям.

Твердая авторская позиция позволяет писателю найти такую «точку наблюдения», откуда лучше видится каждый персонаж.

Поддайся он соблазну показать своего героя только в процессе труда, что так часто встречается в современной прозе и нередко (из-за изолированного отображения трудовых процессов) является источником ее однообразия, роман несомненно утратил бы свою оригинальность, став обычным повествованием с той или иной профессиональной локализацией.

Показ истории создания совхоза или текущей деятельности в той или иной области сегодня уже не нов. При решении такой задачи новизна достигается только благодаря изображению вовлеченных в это дело людей, и Алио Адамия все свое внимание переключил на внутренние побуждения человека, определяющие его поступки, желание бороться, трудиться, побеждать.

Реваз оставляет впечатление неразговорчивого человека. Он относится к числу тех, кто мало говорит, но много делает. Его фразы четки и коротки. Писатель характеризует своего героя не столько словесным материалом, сколько показом отношений с другими персонажами, причем преимущественно прибегая к их штриховой обрисовке. Тем не менее образ Реваса Чапичадзе и вся его деятельность воспринимаются во всей полноте.

Этот сильный и целеустремленный человек сумел возродить опустевшее, обреченное на гибель горное село. Стихийное переселение сельских жителей в город — социальная, политическая и народнохозяйственная проблема огромной важности. От него, в частности, пострадали и горные, и низменные районы Грузии. Но, как известно, миграция населения, тяга сельской молодежи к городу





не приобретают опасного характера там, где умные, энергичные руководители благодаря разумному подходу создают нормальные условия жизни на селе. И таких сел в Грузии сейчас очень много. Правильная, поставленная на научной основе организация хозяйства дает там прекрасные результаты. Колхозники получают возможность жить в отвечающих современным требованиям условиях. Школа, клуб, аптека, средства связи, кино, телевидение, объекты коммунального и бытового обслуживания — все это стало обычным явлением для наших передовых сел.

Именно этого, не щадя сил, добивался и Реваз Чапичадзе. За короткий срок он достиг больших успехов. Им не только организован совхоз, но и подготовлена прочная экономическая база, позволившая создать нормальные, современные условия для жизни и труда сельского населения. Благодаря ему в деревне Хемагали широко развернулась культурная работа и физкультурное движение. И в некогда глухом, опустевшем селе вновь возрождается жизнь. Ушедшие возвращаются к очагу предков, строят дома лучше старых, включаются в труд. И весельем, добром, людьми наполняется, казалось, обреченная на гибель Хемагали. Именно об этом мечтал, за это боролся Реваз Чапичадзе.

Но произошло это не по мановению волшебной палочки. Огромная энергия, знания, терпение, страсть и жар души отданы этому благородному делу. Потребовало оно и определенной жертвы. Об этом мы узнаем через показ психологического состояния людей, участвующих в преображении села.

Такая опосредствованная передача трудового процесса в плане психологического отклика на него дала великолепный художественный эффект. Мы больше привыкли к непосредственному показу трудовых процессов, что нередко переходит в штамп, внося шаблон в повествование.

Нелегко далась Ревазу Чапичадзе такая самоотверженная борьба за возрождение родного села. Ради этого ему пришлось поступиться семейным благополучием. Переселение Реваса в село его супруга восприняла как временное явление, но когда стало очевидным, что это решение окончательное, между ними образовалась трещина, которая никогда больше не срастется. Русудан с дочкой Татией осталась в Тбилиси, а Реваз с сыном Сандро обосновался в деревне. Но дело не только в том, что они живут раздельно, а в их духовной разобщенности. Правда, автор оставляет открытым вопрос об обратимости этого явления, но, надо думать, сближения между ними не произойдет.

Писатель словно хочет этим сказать, что в любом большом деле жертвы неизбежны и человек, борющийся за общественное благо, если он истинный гражданин и патриот, должен быть готов к ним.

Очевидно, пример Реваса многих заставит задуматься и, возможно, даже у некоторых пробудит желание подражать ему. Именно в этой действительности идейно-содержательное значение, общественная ценность данного художественного образа.

Большая чистота и рыцарская сдержанность отличают искреннее чувство Реваса Чапичадзе к молодой учительнице Эке (маленькой Екатерине). Эта романтическая любовь словно прикрыта в романе легкой завесой. Рассказывая историю чистой, возвышенной, по-детски беспорочной любви, писатель преимущественно обращается к полутонам и намекам.

Любовь Эки к Ревазу настолько чиста и искренна, что даже не расцветает, так навсегда и оставаясь романтически приподнятым платоническим чувством. Они словно боятся нарушить его и потому, несмотря на сильное взаимное влечение, расходятся.

Исключительно поэтично, волнующе и утонченно показана эта любовь двух наших современников. Перед нами случай, когда благодаря сознанию высокой ответственности, скромности, внутренней порядочности и душевной чистоте любовь приносится в жертву более возвышенным и жизненно более нужным идеалам.

В связи с образом Реваса нельзя не коснуться весьма актуальной для современной прозы проблемы — показа в произведении роли партийного руководства, партийного начала. Естественно, что создание более или менее широкой панорамы сегодняшней жизни невозможно без решения этого узлового вопроса, столь важного и для самой жизни, и для его художественного отображения.

Нередко в художественное произведение в качестве действующих лиц введено множество партийных деятелей, начиная с парторга или секретаря бюро первичной парторганизации и кончая представителем партийного органа самой высокой инстанции. Не одна страница отводится также развернутому описанию партийных собраний и заседаний бюро. Но в современной грузинской прозе партийное руководство по-настоящему высокохудожественно бывает показано все еще довольно редко. Настоящего партийного духа и





умелого показа направляющей партийной силы не хватает многим произведениям на современную тему.

В романе Алио Адама действуют всего два партийных работника: секретарь райкома Константин Какубери и директор хозяйства Реваз Чапичадзе. Но этого оказывается вполне достаточно, чтобы воспринять суть партийного руководства, ощутить направляющую роль коммунистов. Ведь сам Реваз и большинство окружающих его людей по существу истинные коммунисты, выразители партийного духа. Писатель знает, что партийность персонажа подтверждается не одним партбилетом, а всей его гражданской сущностью и деловыми качествами. Очевидно, поэтому он не сообщает нам, являются ли членами партии большая и маленькая Екатерины. Гораздо важнее то, что об этом свидетельствует вся их человеческая сущность.

Аспект повествования, жанровая форма, его лирико-психологический характер не позволили автору широко и развернуто показать хемагальских коммунистов, но и то, что в этом смысле присутствует в романе, представляется очень важным.

Выведенный Алио Адама образ секретаря райкома партии Константина Какубери, несмотря на скудость характеристики, сложен и противоречив. Это честный человек, опытный руководитель. Но эгоистические начала проявились и в нем. Он не учел своевременно экономических перспектив Хемагали, уделив больше внимания своему родному селу Итхвиси в ущерб другим населенным пунктам района. Возвращение Реваса Чапичадзе Какубери встретил подозрительно и настороженно. Но потом, убедившись, что он не ущемит его авторитета, поддержал смелые планы друга детства.

Следовало ожидать, что Какубери заменят другим, более достойным секретарем, но автор как бы дает понять, что способному и честному человеку надо дать возможность исправить допущенные ошибки. Видимо, он верит, что Какубери не совсем негодный руководитель, и надеется, что под влиянием плодотворных изменений в нашей жизни и здоровой общественной атмосферы он окажется на должной высоте. Это тоже один из верно схваченных штрихов нашей современной действительности. Но в финале писатель чрезмерно скупо показывает, как Какубери осознал свои ошибки и как он их исправляет.

Созданные Алио Адама художественные образы правдивы и жизненны. Их внутренняя эволюция продиктована законами жизни, которые не всегда в ладу с формальной логикой.

И это сказывается на судьбах ряда персонажей романа. Так, сначала кажется, что секретарь райкома недостойный человек и его обязательно сменят, тем более что в современном произведении должностные изменения стали символом перемен всех жизненных ситуаций, превратившись в своеобразный трафарет. Но на самом деле все сложилось иначе. Далее — в какой-то момент создается впечатление, будто Реваз разойдется с Русудан и свяжет свою судьбу с Экой. Но и этого тоже не произошло. И еще — в начале Шадиман Шарангва воспринимался как делец и мошенник. В итоге же он оказался добросовестным и нужным человеком. И наконец — в прологе романа Звиад Диасмидзе был представлен избалованным, лишенным общественных идеалов молодым человеком. Но и он, преодолев сопротивление родных, нашел свой путь в жизни и стал полезным членом общества.

Этим писатель будто говорит нам, что жизнь имеет собственную логику. И во всех приведенных выше случаях авторское решение вопроса кажется вполне убедительным.

Самобытность характеров романа обусловлена еще и тем, что писатель не тянет их искусственно ни к счастливому финалу, ни к поучительному, но трагическому концу. Он не навязывает героям романа своей воли. Взаимоотношения Реваса с Русудан, а затем с Экой так же сложны и противоречивы, как это бывает в жизни.

Не пытаются Алио Адама и свести все к единому знаменателю, предсказать решение всех вопросов. Поэтому трудно сказать, соединятся ли Реваз и Эка, состоится ли его примирение с Русудан.

Но столько незавершенных линий создают определенную перспективу для дальнейшего развития событий, отношений, характеров.

Сейчас, когда за первой его частью последовала вторая и произведение предстало перед нами как единое целое, стало очевидным, что, кроме Реваса, в нем имеется и второй главный герой. Это — «маленькая» (т. е. младшая) Екатерина, которую с детства называют Экой. Этот образ неразрывно связан с образом ее приемной матери — «большой» (т. е. старшей) Екатерины. Они словно дополняют друг друга, служа одной идее. Именно эти образы доносят до нас главный моральный и гражданский пафос романа, оправдывая его название.





Если образ Реваза Чапичадзе заставляет задуматься над злободневными проблемами жизни современного социалистического села, если его деятельность связана с сегодняшними политическими, хозяйственными и организационными проблемами, то образы маленькой и большой Екатерины помогают вскрыть моральную сущность современного советского человека, поднимаясь до обобщенный таких понятий, как гражданственность, нравственность, человечность.

Старшая Екатерина — сельская учительница. Всю свою чистую и честную трудовую жизнь она посвятила воспитанию подрастающего поколения. Автор нашел удивительно проникновенные детали для обрисовки этого образа, и перед нами словно живая встает эта несколько строгая, но предельно справедливая и добрая, чуть гордая, но исключительно человеческая женщина с широкой душой и светлым разумом. В личной жизни ей не повезло; как это нередко случается с натурами скромными и благородными, она попала в руки грубого, нечестного и малодушного человека, причинившего ей много душевной боли. Но Екатерина не озлобилась, не стала ненавидеть всех и вся, как это свойственно порою некоторым неудачливым людям. В жизни она тоже не разочаровалась. Школа, обучение детей, их воспитание стали целью ее жизни.

В грузинской советской литературе много образов сельских учителей, нарисованных страстно и вдохновенно, поэтично и правдиво. К их числу наряду с большой Екатериной можно отнести и образ другого учителя — бывшего директора школы Зураба Барбакадзе. Этот сугубо индивидуализированный характер одновременно во многом типизирован. Он представляется обобщающим образом таких педагогов, которые являются духовными наставниками и спутниками людей на протяжении всей их жизни.

Отдав всего себя без остатка школе и детям, он, как это иногда случается, остается на старости лет одиноким, лишенным любимого дела, без которого чувствует себя заживо похороненным. Но Зураб Барбакадзе посеял столько добра, что в памяти тех, кто его знал, он остался навсегда. Одним из преданных ему людей и его последователем является Екатерина. Так сформулирована в романе преемственность не только поколений, но и добрых дел, искоренить которые невозможно.

Одно из звеньев этой эстафеты — внучка большой Екатерины — «маленькая» Екатерина или Эка, родители которой умерли, когда она была еще совсем маленькая, и ее удочерила тетка. Эка тоже пошла по ее стопам и стала учительницей в той же школе, которую большая Екатерина спасла от закрытия.

Образы этих женщин отмечены подлинной поэтичностью и вдохновением, а их рассказы, вплетенные в повествование в виде дневников и переданные от первого лица, — серия прекрасных, драматизированных, правдивых прозаических сочинений малой формы, приближенных к типу новеллы и на редкость экспрессивных.

Жизнь Эки в своих основных линиях очень похожа на жизнь Екатерины. И та и другая преданы любимому делу. Преемственность проявляется и в том, что она, как Екатерина ее, а Екатерину в свое время тетя Пелагея, тоже берет на воспитание сироту.

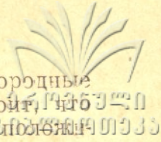
В судьбах этих добрых, достойных, благородных, но не совсем устроенных в жизни женщин есть какая-то щемящая нота. Очевидно, потому, что они лишены семейного уюта, большого личного счастья... И хотя обе энергично и преданно служат своему делу, видя в этом основу своего счастья, не чувствуют себя обездоленными, их благополучие все же односторонне, поскольку успехи на общественной арене не дополняются семейными радостями.

В романе нет излишней экзальтации, показной бодрости, ложного оптимизма, поскольку автор его знает, что нет радости без грусти, что счастье невозможно без боли.

Будь только одна радость на этом свете, она превратилась бы в свою противоположность. Грусть такое же человеческое чувство, как радость и восхищение. Она посещает нас не только в моменты затруднений, но иногда и в минуты наивысшего счастья, ибо является показателем духовной зрелости человека. И как неубедительно, наивно выглядят иные творения с героями, разрывающимися как телята, словно не ведающими о том, что в жизни существует еще человеческая боль, грусть и печаль.

Тем более прав Алио Адамиа, когда в этом полном оптимизма и веры в жизнь произведении дает во всей полноте ощутить ту гамму человеческих переживаний, которая включает в себя и крайне мажорные и сугубо минорные тона. Он не избегает показа контрастных состояний души человека. Именно поэтому ему так удались мастерски написанные сцены смерти большой Екатерины, склеротической дегенерации Зураба Барбакадзе, одиночества Александра Чапичадзе, страданий Гуласпира, вызванных гибелью на фронте Отечественной войны его сына, и многие другие.





В романе Алио Адамиа живут и трудятся духовно красивые, благородные люди. Одна из значительных сторон этого произведения в том и состоит, что подавляющее большинство выведенных в нем характеров безусловно положительные. Они очаровывают нас своими высокими моральными качествами, которые в грузинской прозе последних лет встречаются не так уж часто. Объясняется это тем, что выявление отрицательных характеров (само по себе дело очень нужное и полезное) так увлекло наших беллетристов, что в какой-то степени заслонило задачу создания положительного типа современного человека с его богатой духовной жизнью и героическими делами.

Говоря об отмеченных национальных чертами характерах героев романа Алио Адамиа, в первую очередь следует отметить впечатляющие образы представителей колхозного крестьянства. Таковы Александрэ и Гуласпир Чапичадзе. Эти два старых человека со своей душевной чистотой, утонченностью, тактом, богатством мысли и чувств могут соперничать с любым рафинированным интеллигентом. Они все чувствуют, все видят и понимают. Добрые, рыцарски благородные и трудолюбивые, Александрэ и Гуласпир воплощают лучшие черты грузинского крестьянина-труженика.

Хотя Александрэ Чапичадзе и переживает тяжело свое одиночество, его больше угнетает опустение родного села: до войны в Хемагали было более шестисот дымов, а сейчас осталось всего семнадцать.

Проницательно, психологически глубоко мотивированно показывает писатель думы и чувства этого человека. Александрэ не только отказывается переехать к сыну в Тбилиси, но умно и последовательно подготавливает его решение возвратиться в село. Убедительны также сложные, противоречивые взаимоотношения старика с невесткой и внуками, делающие этот образ еще глубже и жизненнее.

Четко обрисован и образ Гуласпира Чапичадзе. Внешне веселый и беспечный, он носит в сердце неизбывное горе: во время Отечественной войны на фронте погиб его единственный сын Алмасхан. Но не меньше собственной боли его заботит судьба родного села. В беседе с секретарем райкома он вполне справедливо упрекает его за невниманье к Хемагали, за непонимание экономических перспектив села. Именно здесь проявляется гражданское «я» Гуласпира и его внутренняя сущность. Он — один из тех, кто без колебаний стал помогать Ревазу Чапичадзе в организации нового хозяйства, в возрождении села. С глубоким проникновением в природу грузинского крестьянина переданы и человеческие качества этого привлекательного персонажа. Трудолюбивый и неутомимый, он встает перед нами как живой.

На примере села Хемагали видно, к каким тяжелым последствиям привели ошибки в руководстве сельским хозяйством, вызвавшиеся, в частности, в перестройке без разбора колхозов в совхозы, а подчас и вообще в их упразднении. Гуласпир, как и ряд других жителей Хемагали, вынужден был ходить на базар в ближайшее село и продавать излишки продуктов, чтобы хоть как-то содержать свою семью.

Добрый сосед с незапамятных времен считался в грузинском народе ближайшим человеком, что было вызвано, видимо, бурной и беспокойной жизнью страны в прошлом. Идеал «хорошего соседа» возвышается у нас до прямой эстетической категории и представляется специфической чертой национального быта, получившей на редкость непосредственное отражение в романе Алио Адамиа, отдельные места которого воспринимаются как своего рода гимн соседству. Сколько понимания, заботы, тепла, взаимопомощи в соседских взаимоотношениях хемагальцев! И это не исключение. Писателем создана типичная картина для всей Грузии, где клянутся именем доброго соседа.

В романе люди приходят на помощь друг к другу совершенно бескорыстно и просто, потому что такова их природа, их духовный закон, правило их жизни. Показ благородства как сущности человеческой природы — одно из характерных свойств творчества Алио Адамиа.

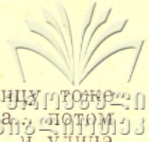
Глубоко и волнующе передано в «Большой и маленькой Екатерине» явление, в котором, как в фокусе, сосредоточены и национальная специфика художественных характеров, и их общественно-гражданская ценность, и чисто личные черты. Это воспоминание о грозных днях Великой Отечественной войны, явившейся великим испытанием силы и духа всего советского народа.

Писатель предельно конденсированно, но выразительно и экспрессивно показывает, с каким достоинством его выдержал грузинский народ.

Пользуясь характерными для него приемами, Алио Адамиа дает понять и ощутить огромный ущерб, причиненный грузинскому народу войной. Двести шестьдесят два полных сил парня ушли на фронт из Хемагали и лишь семнадцать из них вернулись.

«Черные платья, черные чулки, черные платки — на стаю ворон были похожи идущие на Сатевелу женщины Джиноридзе. День не проходил, чтобы





страшное причитание не сотрясло Хемагали... «Потом на нашу улицу пришла смерть. Первой окрасилась в черный цвет калитка Гуласпира, потом пришла весть о гибели Чабуа Чапичадзе, затем Герваси Чапичадзе, и улица Чапичадзевых тоже оделась в черное», «постепенно опустели улицы Хемагали»...

Отечественная война — незаживающая рана в жизни грузинского народа. Грузия принесла на алтарь Победы самую большую жертву: более чем из шестисот тысяч ушедших на фронт больше половины осталось на поле боя. А сколько вернулись искалеченными, без ног, без рук. Сколько, не перенеся гибели сыновей, раньше времени ушли из жизни... Таков итог войны, и автор романа сумел это передать в деталях волнующих и незабываемых.

Многообразие художественных приемов, использованных писателем в «Большой и маленькой Екатериных», свидетельствует о его мастерстве. Это проявляется почти во всех компонентах художественной формы. Возьмем хотя бы композицию. Алю Адамиа применяет различные приемы композиционного построения; прибег он и к так называемому «рамочному» приему; при такой структуре в одно событие включено второе, в него третье (более локальное и маленькое) и так далее. Как одна из сюжетных линий, в роман включены «рассказы большой Екатерины» (ее биография), которые отличает известная цельность и самостоятельность. А в них, в свою очередь, в виде маленьких рассказов влетено несколько повестей: об учителе Зурабе Барбакадзе, о Пелагее Хидашели, о Майе и Бардзиме, Евдокиме и Калистрате Табатадзе и других. Каждая из них представляет собой маленькую новеллу. Иногда такие «включения» характеризуются еще большей самобытностью и несут характер самостоятельного рассказа. Таковы, например, повесть о Ростоме Кикнавелидзе и Грете, «история жизни и деятельности» Диомида Арчвадзе (в которой в сатирико-юмористических рассказах передан портрет «заслуженного деятеля культуры», руководителя районного народного театра, столь типичного для культурной жизни наших районов).

Встречается и так называемая «цепная» композиция, когда одно событие или эпизод «тянет» за собой второе, а оно — третье и так далее. Именно таков рассказ о семье Диасамидзе. За ним следует повесть о связанном с этой семьей соседе Шадимане Шарангии, потом эпизод с карьеристом и бюрократом заведующим роно Кукури Галактионовичем.

Многообразие налицо и в использовании изобразительных средств. Эпическое повествование сменяется формой, свойственной драматургическому жанру с включением авторских ремарок, оживляющих передачу материала. Подчас в текст введена только ремарка. В таком случае она играет роль психологической паузы и выразительно передает душевное состояние персонажей. Порою автор прибегает к кинематографическому приему: «Сперва очки свисали с глаз Нико Диасамидзе, затем показались поседевший ус и поведшие на голове белые волосы... на коленях Нико появилась раскрытая книга, на глазах очки, у глаз морщины».

Прибегает писатель и к так называемому «констатационному» приему повествования: «Хотя Лили и встает раньше всех из-за стола, она все же всегда опаздывает на работу». Или: «Нико Диасамидзе идет в институт истории в двенадцать часов. Его портфель весьма велик, похож на чемодан. Кабинет Нико на третьем этаже»... и так далее.

В роман, как в произведение, богатое психологическими характеристиками, в большом количестве введены мысли и раздумья персонажей, их чувства, переживания. Поэтому автор часто прибегает к внутреннему монологу, который весьма экономен для характеристики душевного состояния героев. Не раз внутренний монолог превращается в сюжетный прием и эффективный источник «информации» о персонажах, поскольку для описания понадобилось бы намного больше места. Таким путем достигается большая лаконичность и лаконичность.

Нередко действие очень выразительно передано «в мыслях», когда герой действует и движется только в своем представлении. Этот способ удобен также для показа желаемого (так, находящийся вдали от семьи Александр Чапичадзе мысленно встречает Новый год вместе с ней, беседуя с каждым из ее членов). Одновременно такой прием подчеркивает контраст между действительностью и мечтой.

Умело используется и фраза, имеющая нагрузку символического значения; это позволяет избежать натуралистического описания и коротко характеризовать то или иное явление или процесс: «Узкая тропинка привела Абега Кикнавелидзе в хергский ресторан, поставила его к буфету, снабдила весами, а в руки дала наточенный нож». Чтобы раскрыть человека «изнутри», автор излагает его раздумья («Думы Какубери», «Думы Реваза») и тут же передает их сущность. А то и сам вступает в повествование.



Особенно большую роль играют в романе воспоминания. С их помощью часто передается целый ряд сюжетных звеньев. Такова, например, история любви Реваза и Русудан, отдельные моменты которой вспоминают то он, то она; вместе взятые, они дают цельную картину.

Стиль романа неоднороден. Он то эмоционален и волнующ, то сдержан и степенен, то лиричен и проникновенен, а иногда даже чрезмерно объективен и детализован, предельно реалистичен или символически отвлечен. Короче, продиктован характером передаваемого материала, сущностью эпизода и персонажа, их особенностями.

Нельзя не сказать и о поэтичности, являющейся одной из действительных сторон художественности произведения. Отдельные картины, пассажи, портреты, пейзажные зарисовки, взаимоотношения, романтические интриги буквально насыщены лиризмом.

Лапидарный стиль, рубленые, лаконичные фразы в то же время несут большую смысловую и эмоциональную нагрузку. Они ясны и определены, наделены четкой архитектурной и музыкальностью.

В любом компоненте стиля ощущается, что роман создан поэтом. Это проявляется и во внутренней взволнованности, исходящей от каждого образа и ситуации, и в поэтическом трепете, пронизывающем каждое слово. Такой эмоциональный заряд — одна из причин эмоционального воздействия романа на читателя.

Языковая ткань произведения также дает весьма интересный материал для наблюдений и рассуждений. Его язык образен, точен, богат. Он отличается умеренным использованием диалектных форм (преимущественно в прямой речи персонажей) и не нарушает чистоты литературных норм его.

Конечно, роман не лишен некоторых недостатков (иногда неубедительны детали, порою автор чрезмерно произвольно употребляет и трактует слова, редко, но все же встречаются стилистические ляпы и т. д.).

Хотя на этот раз Алио Адама предстает перед нами как прозаик, но по своей природе он все же остался поэтом. Именно этим объясняется высокая поэтичность его произведения.

Несмотря на подчас спорные тенденции в вопросах осмысления языка, стиля, сюжета, композиции или характеров (а без них нельзя представить ни одного художественного произведения), во всех компонентах формы и содержания романа «Большая и маленькая Екатерины» чувствуется рука художника и мастера, наблюдательного и вдохновенного.

Сегодня в современной грузинской литературе преобладает тенденция выявления негативных явлений, общественной борьбы с ними. Это вполне закономерно и естественно, поскольку иначе невозможно искоренить вредное наследие недалекого прошлого, а выполнение этих задач — кровное дело нашей литературы.

Однако разоблачение отрицательного — только одна сторона главной творческой задачи советской литературы, призванной во всей полноте раскрыть и героическую сущность нашей действительности, новые черты советского человека, сделав его образцом, достойным подражания. Именно в этом ее высокое назначение. И потому рассматриваемый нами роман Алио Адама заслуживает особого внимания. Он населен именно такими людьми — неунывающими и трудолюбивыми, добрыми и смелыми, благородными и дальновидными. Они воплощают в себе лучшие черты и качества нового советского человека, придающие героям этого произведения особое очарование.

Роман Алио Адама — несомненное достижение грузинской прозы последних лет.







# Мост связующий

Знакомясь с историческими судьбами Грузии, великий сын украинского народа Тарас Шевченко говорил: «Как много общего у этого народа с нашим!».

Именно эта общность исторических судеб обусловила развитие и укрепление грузино-украинских литературно-культурных взаимосвязей, нерушимую дружбу двух братских народов. По словам Григола Абашидзе, высокие идеалы гуманизма, дружбы и братства народов роднили литературу Украины и Грузии на всех этапах их развития. Имена великих поэтов навек породнили наши народы, перекинули мост братства, по которому прошли последующие поколения, неся немеркнущую эстафету дружбы.

Дружба грузинского и украинского народов нашла яркое отражение в различных областях культуры, в том числе и в театральном искусстве.

Известно, что в 50-х гг. прошлого столетия в Тифлисе, наряду с грузинскими и русскими спектаклями, большим успехом пользовались постановки пьес на украинском языке. И в дальнейшем украинцы, проживавшие в столице Грузии, с большим увлечением играли спектакли на родном языке. Грузинская общественность оказывала им большую поддержку. Театр почти неизменно бывал переполнен украинцами, русскими, грузинами.

В Центральном архиве Грузинской ССР хранятся интересные материалы, имеющие непосредственное отношение к истории украинского театра. В частности, в архиве канцелярии тифлиского губернатора сохранилось дело, озаглавленное следующим образом: «О постановке драмы, писанной на украинском языке колдежским регистратором Метлинским под заглавием «Мотря Кочубеевна» при Тифлиском театре» (ф. 5, д. 303).

Семен Лукьянович Метлинский, проживавший в городе Гадяч Полтавской губернии, отправил свою драму «Мотря Кочубеевна» в Грузию в мае 1866 года, так как украинцы решили осуществить ее постановку на тифлиской сцене. За разрешением они первоначально обратились в Главное управление по делам печати. Хотя драма С. Метлинского и

была в целом одобрена, цензура указала на ряд неприемлемых мест. После этого автор обратился к тифлискому гражданскому губернатору с просьбой разрешить постановку «Мотри Кочубеевны» на сцене. «В прошлом году, — писал С. Метлинский, — я получил от Главного управления по делам печати разрешение на постановку для театра написанной мною драмы на украинском языке под заглавием «Мотря Кочубеевна».

Желая доставить Тифлисской театральной дирекции, если ей будет угодно, право играть драму эту, честь имею послать при сем... 2 экземпляра, один собственно Вам, а другой с отметками, согласно экземпляру, присланному мне от Главного управления по делам печати, для Тифлисской театральной дирекции...».

Тифлисская гражданская губерния воздержалась от разрешения на постановку драмы С. Метлинского и переслал ее Главному управлению департамента наместника на Кавказе. «Так как, — писал он, — Тифлисская дирекция мне не подчиняется, то и экземпляр мне назначенный я не принял. Поэтому вышеозначенное письмо С. Метлинского со всеми значущимися в оном приложениями имею честь препроводить в департамент общих дел на зависящее его распоряжение, присовокупляя, что об этом вместе с сим поставлен в известность через Гадячское уездное полицейское управление и проситель С. Метлинский».

Так переходила эта драма из одного бюрократического учреждения в другое. Как видно, власти сознательно затягивали решение вопроса о постановке «Мотри Кочубеевны».

Кто же такой Семен Лукьянович Метлинский? В истории украинской литературы прошлого столетия известен писатель, выдающийся для своего времени романтик Амвросий Лукьянович Метлинский (1814 — 1870). Нам кажется, что автор драмы «Мотря Кочубеевна» Семен Лукьянович Метлинский должен быть братом Амвросия Лукьяновича Метлинского.

Думается, что все изложенное выше должно иметь определенное значение для истории украинской драматургии.



Григол БРЕГАДЗЕ

# Ленинским путем побед и свершений

**В**ЕЛИКАЯ Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. Политическое, правовое равенство между народами нашей страны, достигнутое с победой Октября, созданием СССР, имеет всемирно-историческое значение, но дело не могло ограничиться этим. Интересы построения социализма, формирования социалистических наций требовали обеспечения фактического равенства всех народов Советского Союза.

Еще в 1921 году в резолюции X съезда РКП(б) «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» было записано, что первейшей задачей пролетарской революции является последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства во всех отраслях общественной, хозяйственной и культурной жизни.

В 1928 году XII съезд РКП(б) в своих решениях по национальному вопросу особо подчеркнул, что причины фактического национального неравенства кроются не только в истории нерусских народов страны, но и в политике царизма, русской буржуазии, превращавших окраины России исключительно в сырьевые районы, эксплуатируемые промышленно-развитыми центральными районами. Преодолеть это неравенство в короткий срок невозможно, отмечал съезд, «но преодолеть его нужно обязательно. И преодолеть его можно лишь путем действительной и длительной помощи русского пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного и культурного преуспеяния. Помощь эта должна, в первую очередь, выразиться в принятии ряда практических мер по образованию в республиках ранее угнетенных национальностей промышленных очагов, в максимальном привлечении местного населения» (КПСС в резолюциях... ч. I, 1953, стр. 714).

Такая задача могла быть поставлена во всей широте лишь после восстановления разрушенного народного хозяйства, в период развернутого строительства социализма. Индустриализация национальных республик СССР вытекала из общей установки ленинской национальной политики на ликвидацию этого фактического неравенства. Ярким примером ликвидации экономической и культурной отсталости угнетенных при царизме народов может быть опыт истории Грузии, поднятой Советской властью из отсталости и превращенной в цветущую социалистическую республику.

Для характеристики экономического отставания дореволюционной Грузии достаточно будет сказать, что в 1913 году здесь на душу населения вырабатывалось: промышленной продукции — на 18 руб., а в России — на 78 руб., то есть в 4,3 раза больше, чем в Грузии; электроэнергии в Грузии — 7,9 квтч., а в России — 13,3 квтч. Мощность механических двигателей на душу населения в России была в 10 раз больше, чем в Грузии.

Вопрос о социалистической индустриализации республики был рассмотрен на IV съезде КП(б) Грузии в 1925 году. Курс на индустриализацию был намечен на основе решения XIV конференции РКП(б) «О работе и задачах металлопромышленности», которое было принято по докладу Ф. Э. Дзержинского. Этот курс учитывал особенности и уровень экономического развития Грузии. Так, если перед СССР в целом на первых порах стояла задача превращения страны из аграрно-промышленной в индустриально-аграрную, а затем





в индустриальную, то Грузию надо было сперва превратить из аграрно-промышленную республику, чтобы в последующем сделать ее индустриальной, с высокоразвитым социалистическим сельским хозяйством.

В связи с индустриализацией республики было уделено особое внимание строительству гидроэлектростанций, созданию машиностроения, развитию марганцевой, каменноугольной и других отраслей промышленности. Трудящиеся Грузии с помощью русского народа за короткий исторический срок заложили основы тяжелой индустрии республики. В 1928-29 хозяйственном году в промышленности Грузии было вложено средств в 9 раз больше, чем в 1924-25 гг. (VI съезд КПГ, 1929, стр. 30).

В 1927 году в республике было завершено строительство ЗАГЭС имени В. И. Ленина — первой крупной гидроэлектростанции в СССР после Волховгэса. Большое внимание уделялось не только реконструкции старых предприятий, но и новому промышленному строительству, созданию промышленных очагов в Аджарской и Абхазской АССР, в Юго-Осетинской АО. В 1929 году разворачивается строительство предприятий тяжелой индустрии в Грузии. Успехи индустриализации обусловили здесь дальнейшее упрочение социалистического способа производства. К 1930 году социалистическому сектору принадлежало уже 99,9 процента продукции всей ценовой промышленности Грузинской ССР («10 лет Советской Грузии». Стат. сб., Тб., 1931, стр. 115, 118).

В постановлении ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1928 года «О работе Компартии Грузии» указывалось, что в результате ленинской национальной политики, которую проводит партия в деле индустриализации Грузии, удельный вес промышленности в народном хозяйстве республики вырос втрое, растет кадровый рабочий класс Грузии, поднимается его материальный и культурно-политический уровень.

Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР, составленный в соответствии с принципами ленинской национальной политики, обеспечил дальнейшее быстрое развитие промышленности, транспорта и сельского хозяйства советских республик. По плану для народного хозяйства Грузинской ССР предусматривалось капиталовложений в 6 раз больше, чем за предыдущие 5 лет. Из общей суммы капиталовложений на сельское хозяйство выделялось 186 млн. рублей, на промышленность — 249 млн. рублей, из коих около двух третей приходилось на производство средств производства (ПАГФ ИМЛ, ф. 14, оп. I, д. 3150, л. 697).

С целью ликвидации фактического национального неравенства планировались более высокие, чем по РСФСР, темпы развития промышленности Грузинской ССР. Если в целом в СССР объем промышленной продукции в 1929 году должен был возрасти на 21,4 процента, то в Грузии — на 41,5, а в 1930 году — на 60 процентов (ЦГА ГССР, ф. 303, оп. I, д. 156, л. 120).

Досрочное выполнение первой пятилетки привело к тому, что уже в 1932 году капиталистические элементы были окончательно вытеснены из промышленности, что обеспечило полное господство социалистической индустрии. Грузия из аграрной республики превратилась в индустриально-аграрную. Была ликвидирована исторически унаследованная техническая отсталость и диспропорция между промышленностью и сельским хозяйством. Во второй пятилетке промышленное развитие Грузии шло по линии дальнейшего расширения электростроительства, топливной и марганцевой промышленности, цветной металлургии (медь, алюминий, свинец, цинк), переработки минералов и г. д.

В 1926—1937 гг. темп роста промышленности в Грузинской ССР почти в 2,5 раза превышал темп развития индустрии в РСФСР. Продукция крупной промышленности Грузинской ССР в 1936 году выросла в 28 раз по сравнению с 1924 годом. При этом развитие промышленности происходило на базе развернутого электростроительства. Удельный вес промышленной продукции в общей продукции народного хозяйства Грузинской ССР увеличился с 13,2 процента в 1924-25 гг. до 75,2 процента в 1937 г. («Советская Грузия за 17 лет», 1938, стр. 18).

В процессе социалистической индустриализации выросли новые национальные кадры рабочих тяжелой и легкой промышленности, разных видов транспорта, совхозов, МТС и кооперативно-колхозных предприятий. В 1937 году удельный вес численности рабочих только таких отраслей промышленности, как черная и цветная металлургия, марганцевая, угольная и нефтяная промышленность, машиностроение и металлообработка, электростанции и электросети, промышленность строительных материалов, лесоразработка и деревообработка, составил 47,1 процента. Общее число рабочих и служащих возросло со 116 703 человек в 1925 году (исключая наемных лиц сельского хозяйства) до 358 700 в 1937-м («Народное хозяйство Груз. ССР», 1957, стр. 33; «10 лет Советской Грузии», 1931, стр. 400; «Грузинская ССР за 20 лет», 1941, стр. 21).



Из этих цифр видно, насколько вырос, улучшился состав рабочего класса. Следовательно, выросла и улучшилась социальная база Компартии Грузии.

Коллективизация сельского хозяйства в такой крестьянской стране, какой являлась Грузия, имела исключительно большое значение. Так же, как по нашей многонациональной стране, большевики Грузии, вооруженные ленинским кооперативным планом, приступили с 1929 года к массовой коллективизации сельского хозяйства. В конце 1936 года колхозы уже объединили 368.710 хозяйств и сдавали государству: зерновых — 95,8 процента от общего плана государственных поставок, чая — 70, табака — 82, сахарной свеклы — 92, а вместе с совхозами — 100 («Заря Востока», 18/II-1937 г.).

На основе социалистической индустриализации, создания и развития совхозов, коллективизации всего сельского хозяйства, полной победы социализма исчезла навсегда эксплуатация человека человеком, была ликвидирована вековая противоположность между городом и деревней.

Решающие революционные преобразования в стране, окончательная ликвидация эксплуататорских классов и их националистических партий, утверждение социализма в быту людей, формирование грузинской, азербайджанской и армянской социалистических наций к моменту принятия новой Конституции обусловили упразднение ЗСФСР, которая успешно выполнила свою историческую миссию в 1922—1936 гг. Советские республики Закавказья по новой Конституции СССР 1936 года самостоятельно вошли в СССР как союзные республики, что имело большое значение для дальнейшего развития и совершенствования советской государственности грузинской, азербайджанской, армянской социалистических наций и еще большего укрепления дружбы народов Советского Союза.

На основе успехов индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства развернулась культурная революция, являющаяся органической составной частью строительства социализма. На базе богатых революционных, прогрессивных и демократических традиций возникла новая грузинская культура — национальная по форме и социалистическая по содержанию.

В результате победы социализма, мощного подъема экономики и культуры Грузии, при братской помощи РСФСР и других советских республик было обеспечено фактическое национальное равенство, произошло формирование грузинской социалистической нации, возникло ее нерушимое содружество со всеми другими социалистическими нациями Советского Союза.

В славную победу над вероломным врагом свой достойный вклад в Великой Отечественной войне Советского Союза внесла Грузинская ССР. Мужественные воины-грузины героически сражались под Одессой, Севастополем, Москвой и Ленинградом, Сталинградом, на подступах к Кавказу, за освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Чехословакии и во многих странах Европы и Азии.

На фронты Великой Отечественной войны Советская Грузия послала 673 тыс. своих сыновей и дочерей, то есть 20 процентов всего населения республики. Из этого числа почти половина героически пала в боях. За проявленный героизм более 300 тысяч человек были награждены орденами и медалями СССР, из них 137 удостоены высокого звания Героя Советского Союза (Г. С. Дзодендзе. Грузинская ССР, 1972, стр. 23).

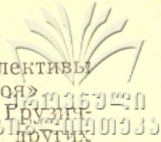
Выступая на торжественном заседании ЦК КП Грузии и Верховного Совета Грузинской ССР в честь 50-летия Грузинской ССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Вместе со всей многонациональной Советской Армией грузинские бойцы прошли победный путь от Кавказских предгорий до Берлина».

Война причинила большой ущерб и Грузинской ССР. Но с ее победоносным окончанием вновь открылись самые широкие перспективы подъема всех отраслей народного хозяйства республики и грузинской советской культуры. Развернулось строительство Руставского металлургического завода, Храмской и Сухумской гидроэлектростанций, Кутанского автомобильного завода, новых угольных шахт и других важных промышленных объектов.

Трудящиеся Грузии досрочно выполнили четвертый пятилетний план. Народное хозяйство республики было восстановлено уже в 1948 году, а к 1950-му оно на 56 процентов превзошло уровень 1940 года. С большим успехом был выполнен и пятый пятилетний план (1950 — 1955). Досрочно реализованы задания первых трех лет шестой пятилетки (1956—1958), трудящиеся Грузии развернули успешную борьбу за осуществление грандиозных задач семилетнего плана развития народного хозяйства (1959—1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1965 года Грузия за успехи в строительстве коммунизма была награждена вторым орденом Ленина (первым она была награждена за успехи в строительстве социа-





лизма еще в 1935 году). Орденом Ленина были награждены также коллективы «Чиагурмаргантреста», Тбилисского метрополитена и «Закметаллургстроя».

С успешным выполнением восьмой пятилетки (1966—1970) Грузинская ССР значительно продвинулась вперед. В Грузии так же, как и в других союзных республиках и в целом в СССР, построено развитое социалистическое общество.

XXIV съезд КПСС наметил новые грандиозные задачи строительства коммунизма, раскрыл новые перспективы развития и укрепления содружества всех социалистических наций и народностей Советского Союза.

Девятая пятилетка Грузинской ССР предусматривает преимущественное развитие энергетики, машиностроения и химической промышленности, дальнейший рост пищевой и легкой промышленности.

Труженики Грузии успешно выполнили план 1973 года, решающего года девятой пятилетки. С каждым годом растет вклад Грузинской ССР в общее дело строительства коммунизма. Во все возрастающем количестве республика поставляет Советскому Союзу марганец, ферросплавы, металлорежущие станки, чугун, сталь, прокат, грузовые автомашины, магистральные паровозы, точные приборы, катера, первые в мире чаеуборочные машины, технику для винодельческой промышленности, гумбрин, цемент, мрамор, шерстяные ткани, обувь, всемирно известные минеральные воды и самые разнообразные продукты многогранного сельского хозяйства. Об удельном весе Грузии в общем производстве СССР свидетельствует тот факт, что Грузия дает 95 процентов первичной переработки чайного листа СССР. Большое место занимает также ее цитрусовое хозяйство, виноградарство и виноделие, получившее здесь мощное развитие. Немаловажное место занимает Грузия и в общем экспорте СССР. Она экспортирует в настоящее время свыше 160 различных видов своей продукции более чем в 70 стран мира («Заря Востока», 6 октября 1973 г.).

Природа Грузинской ССР богата и щедра, но и она даром не отдает своих богатств. Только трудом человек покоряет природу, и Грузия славится своими многочисленными новаторами производства. Во всем Советском Союзе хорошо известны имена дважды Героев Социалистического Труда Тамары Купуния, Антимоза Рогавы и Прокофия Сванидзе. В Грузии и далеко за ее пределами знают Героев Социалистического Труда Иосифа Хазарадзе, воплотившего в себе замечательные черты современного советского рабочего, великодушного мастера своего дела; Константина Илуридзе — замечательного кузнеца, ударника коммунистического труда; Грузо Оболадзе — новатора-метростроителя; Михаила Спендерашвили — сталевара, депутата Верховного Совета СССР; Николая Родоманченко — токаря, члена ЦК КП Грузии; Леонтия Требучава — знаменитого шахтера; чаевода Дареджан Такидзе; механизатора Нико Меликишвили; виноградаря Михаила Меквевришвили; доярку Екатерину Лещеву и многих других. Всего за последние 30 лет в Грузии удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда до 1300 человек. Это они и сотни, тысячи их соратников, воспитанных партией Ленина, идут в первых рядах строителей коммунистического общества. По численности Героев Социалистического Труда в пропорциональном отношении к населению Грузия занимает первое место среди союзных республик СССР (Из материалов Института истории АН ГССР).

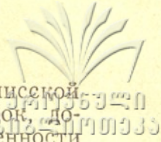
Грузинская ССР на первом месте по высшему и общему среднему образованию как среди союзных республик СССР, так и среди других стран мира.

Подводя итоги героическим свершениям советского народа, Л. И. Брежнев подчеркнул: «Мы имеем все основания сказать, что национальный вопрос в том виде, в каком он достался нам от прошлого, решен полностью, решен окончательно и бесповоротно. Это — достижение, которое по праву можно поставить в один ряд с такими победами в строительстве нового общества в СССР, как индустриализация, коллективизация, культурная революция» (О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1973, стр. 23).

5 октября 1973 года на государственном знамени Грузинской ССР рядом с двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции засиял и орден Дружбы народов.

Никакой общественной строй, кроме социализма, как указал в своем выступлении на торжественном заседании ЦК КП Грузии и Верховного Совета Грузинской ССР член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко, не мог и не имел морального права учреждать орден Дружбы народов и награждать им целые народы. Только победивший социализм, утвердивший полное равенство и братское содружество свободных народов, по праву включил в ряд своих самых высоких наград орден Дружбы народов, олицетворяющий торжество ленинской национальной политики КПСС. Далее он заявил: «ЦК КПСС положительно оценивает большую разностороннюю работу, которую в настоящее время проводит республиканская партийная организация, ее Центральный Комитет и бюро ЦК Компартии Грузии».





Вместе с тем, как было подчеркнуто на XXXV конференции Тбилисской городской партийной организации, за последние годы в результате ошибок, допущенных прежним руководством, снизились темпы развития промышленности и сельского хозяйства республики, их удельный вес в общесоюзном производстве. Еще не изжиты те серьезные недостатки, которые были отмечены в постановлении ЦК КПСС «Об организаторской и политической работе Тбилисского горкома Компартии Грузии по выполнению решений XXIV съезда КПСС».

Тем грандиознее и значительнее принятое по инициативе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева постановление «О мерах по дальнейшему развитию народного хозяйства Грузинской ССР». Это историческое для нашей республики решение — показатель подлинно отеческой заботы ЦК КПСС о дальнейшем расцвете экономики и культуры Грузии, проявление ленинской национальной политики и незыблемой дружбы народов СССР.

История нашей Компартии и республики не знала, как отмечает первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе, столь важного документа, открывающего огромные перспективы расцвета, ускоренного развития экономики и культуры Грузинской ССР. Согласно этому постановлению, в Грузии предусмотрено строительство более 40 новых предприятий, расширение и реконструкция до 20 промышленных объектов. Гигант нашей энергетики — ИнгуриГЭС должна быть введена в действие на полную мощность в 1977 году, будут построены ХудониГЭС на реке Ингури мощностью в 1 млн. 110 тыс. квт., Намахванская ГЭС на реке Риони мощностью 730 тыс. квт. и новая крупная тепловая электростанция в Западной Грузии. Большие работы будут осуществлены на Руставских металлургическом и химическом заводах, на Кутаисском автозаводе, Зестафонском заводе ферросплавов, Чнатурмарганце, в Маднеульском горно-обогатительном и Рачинском горно-металлургическом комбинатах, в Квирильском и Болнисском рудных районах. В малых городах республики предусмотрено создание 3—4 крупных филиалов тбилисских станкостроительного и инструментального заводов. Утверждена большая программа дальнейшего подъема сельского хозяйства республики. Сбор чайного листа в десятой пятилетке будет доведен до 350—360 тыс. тонн, производство винограда — до 750—800 тыс. тонн, плодов — до 600—650 тыс. тонн, цитрусовых — до 110—120 тыс. тонн в год. Поставлена задача закончить полностью осушение и освоение Колхидской низменности, будут введены в строй крупные мясокомбинаты, птицефабрики, молочные фермы. Крупным событием явится решение грандиозной задачи — строительство Кавказской перевальной железной дороги Тбилиси—Орджоникидзе и Тбилиси—Ахалкалаки.

Как видно даже из этого краткого изложения содержания постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, перед трудящимися нашей республики, которые вместе со всеми советскими людьми готовятся к достойной встрече предстоящего XXV съезда нашей партии, открываются невиданные доселе перспективы.

«Мы вступаем в новый этап развития нашего общества, — сказал недавно на встрече с избирателями первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе, — готовимся к XXV съезду КПСС и XXV съезду Компартии Грузии, уже разработаны и ожидают воплощения в жизнь Директивы десятой пятилетки. Эта пятилетка явится пятилеткой дальнейшего расцвета и подъема нашей республики».





КАК БОЛЬШОЕ событие культурной жизни республики отмечались в Грузии шолоховские юбилейные торжества. Повсеместно читались доклады и лекции, посвященные жизни и творчеству М. А. Шолохова. Широко отметили 70-летие писателя республиканская пресса. В юбилейные дни вышли книги о М. А. Шолохове, подготовленные Т. Буачидзе и Г. Талиашвили.

Чествование выдающегося советского писателя на грузинской земле завершилось юбилейным вечером. 20 мая в Государственном академическом театре имени Руставели собрались представители общественности республики, чтобы приветствовать замечательного художника слова, чей могучий дар открыл целую эпоху в жизни советского народа. Об этом говорили Г. Абашидзе в своем вступительном слове, Т. Буачидзе, сделавший доклад о жизненном и творческом пути М. А. Шолохова, а также И. Абашидзе, чье выступление мы публикуем ниже, Г. Джигладзе, К. Лордкипанидзе, Э. Фейгин и другие.

Ираклий АБАШИДЗЕ

## НАШ ШОЛОХОВ

**В**СПОМНИМ юных героев времен великой русской революции и гражданской войны, политических и общественных деятелей, командующих армиями и фронтами, чей государственный либо военный талант, проявляемый смолоду, решал судьбу нового государства. Ведь все это происходило и при нас и на глазах ныне здравствующих представителей предыдущего поколения...

Еще совсем юным вступил в борьбу с поднятыми ураганом Октября волнами «Тихого Дона» и Михаил Шолохов, предпринявший огромный, длившийся пятнадцать лет труд по созданию своей бессмертной книги.

Его юбилей совпал с тридцатилетием Победы советского народа в Отечественной войне. В этом совпадении мне видится нечто символичное, и я хочу повторить сказанное мною в Колонном зале Дома Союзов десять лет назад на 60-летию автора бессмертного «Тихого Дона»: «Юбилей Михаила Шолохова — это день торжества советской литературы»...

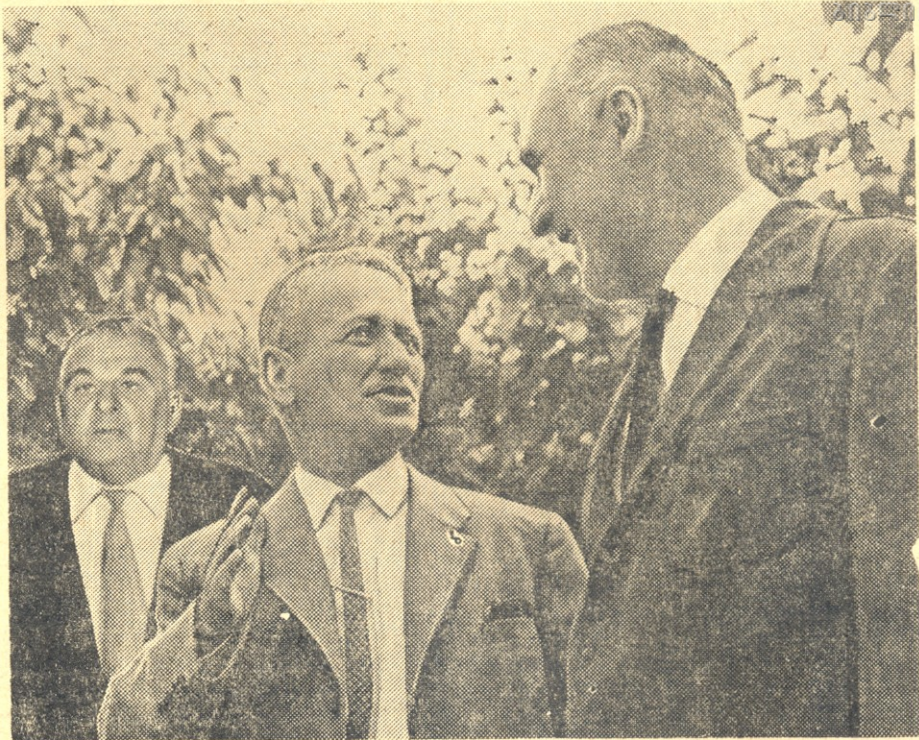
Называя Шолохова в ряду крупнейших мастеров современного художественного слова всей планеты, я не просто хочу отметить тот факт, что в наши дни среди нас живет и творит один из лучших представителей русской литературы, а пытаюсь по достоинству оценить талант и огромное мастерство, с которым он отобразил нашу эпоху и современность в своих бесценных произведениях.

Шолоховское творчество — достойное продолжение прославленных во всем мире традиций русского реализма, у истоков которых стоят Л. Толстой и Ф. Достоевский, традиций, возымевших колоссальное влияние на весь последующий ход мировой литературы.

На славном пути развития русской литературы творчество Шолохова, не избежавшее влияния лучших традиций своих великих предшественников, выделяется особым своеобразием и самобытностью. Сам Михаил Александрович так говорит об этом: «А как же? На меня влияли многие... и Чехов...»

Ему присуще столь органичное для всего его творчества предельно острое врожденное чувство современности. И если великолепная эпопея «Тихий Дон» создавалась им по горячим следам уже опшумевшей гражданской войны, то все другие его произведения рождались в ходе описываемых в них событий. Сейчас, спустя несколько десятилетий, гражданская и Великая Отечественная войны, годы коллективизации воспринимаются как этапные моменты истории нашего народа, всей Советской страны, но Шолохов, создавая художествен-





**Михаил Шолохов, Георгий Леонидзе и Ираклий Абашидзе.**  
(1968 год).

ную летопись той поры, сам был свидетелем и участником всех этих незабываемых событий.

О войнах, все еще сотрясающих нашу планету, написано не одно великое произведение литературы и искусства. Но, как известно, эти полгогна возникали уже после того, как отгремели бои. В истории литературы и искусства нет ни одного достаточно значительного творения, которое, родившись в суровые дни войны, стало бы грозным оружием борьбы.

Многие произведения военных лет бойцы брали с собой на поле битвы потому, что они были необходимы им так же, как оружие, как фляжка с водой, как ломоть хлеба из полевой кухни или письма родных. В этом и состоит отличительная черта советской литературы, и Шолохов занимает одно из первых мест в ряду тех, кто ее формирует.

Я внимательно следил за Михаилом Александровичем во время посещения славного исторического памятника Грузии — Вардзии. Мне трудно было предположить, что эти развалины, далекое прошлое в такой мере могли взволновать испытанного летописца современности, художника, отражающего исключительно сегодняшний день. И я подумал: — Не собирается ли он взяться за историческую тему? — Но, видимо, Шолохова никогда не увлекала такая идея, которая потребовала бы совсем иного художественного стиля, в корне отличного от того, который был выработан им на протяжении всего его творческого пути, — четкий, шолоховский стиль эпохи. Именно его и выбрал он для отображения современности и верен ему, начиная с «Донских рассказов» и по сегодняшний день. Ведь именно в стиле проявляется отношение художника к действительности.

Шолохов был и остается несравненным художником современности. Его артисты не играют, а на самом деле умирают на сцене.

Живя жизнью народа, он творит для него. В этом я еще раз убедился, когда гостил у него в Вешенской. Его невозможно представить вне своего народа. Оторванный от хуторской среды, от друзей-станичников, от соседей, он бу-





34.035330  
518-2110133

дет походить на героя греческой легенды — Антея. Ведь не случайно же великий художник живет в станице.

Посмотрите на него, когда он идет по улицам Вешенской, любуется выступлением ансамбля песни и пляски донских казаков в местном клубе, где его присутствие — дело обычное для всех окружающих (не то что в Большом театре!), беседует со своими Макаром Нагульновым, Семеном Давыдовым или Аксиной, Прохором Зыковым или Ильей Бунчуком, и вы почувствуете, как рукой большого мастера стерта грань между литературой и действительностью. Находясь здесь, не определишь, где вымысел, а где жизнь, ваше ли воображение рисует описанных Шолоховым героев или вы их видите на самом деле... Вы здороваетесь за руку с конкретными людьми, с которыми писатель познакомил вас еще в своих произведениях. С конкретными людьми...

Кому принадлежит человек? В эпоху, когда эта проблема стоит перед всем интеллектуальным миром, советская литература, вся современная мировая литература как знамя может поднять творчество Шолохова.

Так кто же проникнет в сокровенные глубины человеческой души? Наука или литература и искусство? Спор этот осложнился еще более после того, как науки, и в том числе общественные, получили в свое распоряжение дополнительные возможности познания — научно-техническую базу.

Литература же в вопросе изучения человеческой души не располагает никакими вспомогательными средствами. Сегодня, как и тысячи лет назад, ее оружием остаются: художественное проникновение, художественная убедительность, художественная аргументация, сила художественного воздействия, художественное мастерство. Это и есть то оружие, которое победоносно использует Михаил Шолохов. Главная задача литературы — беспрестанно совершенствовать свое оружие, в особенности сейчас, сегодня, когда душа человеческая все сильнее, все ожесточеннее сопротивляется стремлению раскрыть ее.

Творчество Шолохова — наглядный пример того, что именно литературе, художественному исследованию человеческой души под силу разгадать ее тайну. Ведь проник же он в тайники души многих замечательных советских людей.

Высокое мастерство... Проникновение в душу человека по-шолоховски... К этому произведения Шолохова призывают каждого советского писателя.

Его творчество — предельно ясное и строгое мерило, помогающее оглядеть подлинную литературу от суррогата.

Мы надеемся, что в будущей пятилетке, пятилетке борьбы за качество, вопрос совершенствования нашего художественного оружия еще более остро станет перед нашей литературой. Поэтому я от души желаю нашей советской прозе, в частности сегодняшней грузинской прозе, новых, больших успехов.

А нашему большому другу Михаилу Шолохову — железного здоровья и новых побед!

Его юбилей — наш общий праздник!





# ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИСКУССТВА

Не так давно мне пришлось принять участие в очередном Лахтинском международном семинаре писателей. Пятый раз собрались в этом небольшом финском городе писатели разных стран, чтобы обсудить насущные вопросы литературного развития, обменяться мнениями по наиболее волнующим их проблемам творчества. На этот раз разговор, в котором принимали участие 127 писателей из 31 страны, шел об ответственности художника в современном мире.

Ответственность писателя. Об этом написаны сотни книг, произнесены тысячи речей. И несмотря на очевидную тщетность усилий целиком исчерпать тему, мастера слова вновь и вновь возвращаются к мысли об ответственности перед читателями, перед настоящим и будущим, перед жизнью, потому что такова специфика писательского ремесла: этому нас, русских писателей, с неслучайностью учили Толстой и Достоевский, Чехов и Горький, для которых непереносимо было разобщение этики и эстетики, красоты и морали.

В анкете, розданной участникам семинара, спрашивалось: кто он — писатель, лидер или политик, учитель или пророк? Я думаю, что все сравнения хромают, потому что писатель — это писатель и его роль в современном мире единственна, неповторима, несопоставима ни с какой другой. Он незаметен, потому что делает дело, которое никто не может сделать за него.

Обо всем этом особенно интересно было размышлять на Лахтинском семи-

наре, который пользуется доброй славой и уважением в Советском Союзе как место, где собираются литераторы, чтобы обменяться мнениями о самом главном, сообща найти то, что нас объединяет, попытаться лучше понять друг друга. Такое взаимопонимание станет, однако, возможным, если мы точно обозначим исходные позиции, с полным доверием и искренностью изложим символы веры, определяющие творчество. Эти заметки и являются попыткой сфор-

мулировать точку зрения советской делегации в Лахти.

Вначале хочется сказать о тех явлениях и процессах, которые давно беспокоят и кажутся признаками капитуляции искусства, его растерянности и бессилия перед нашим, уввы, таким сложным временем. И начну я с личных впечатлений, которые, думается, содержат в себе также общий смысл.

Случилось так, что в одной из европейских столиц я буквально с самолета попал на постановку «Короля Лира», вокруг которой бушевали страсти, полыхали споры. Удивление началось с первых тактов спектакля, когда шекспировские герои появились в одежде современных хиппи и стали разыгрывать действие на вертикальных металлических конструкциях вместо декораций древней Британии. Ну что ж, подумалось тогда, искусство имеет право на эксперимент, важно лишь определить, в чем его смысл и какова художественная логика. Но чем дальше разворачивалось действие, тем острее становился протест и прямее нарастало неприятие этого по-своему впечатляющего спектакля. «В мире нет ни правых, ни виноватых, — пытается уверить режиссер. — Король Лир, его дочери, зятья, окружение, все люди ведут себя сообразно обстоятельствам, и потому к ним неверно подходит с нравственными требованиями, моральными критериями. Люди неизменны на протяжении веков и бесильны перед жизнью».

Так иной раз перечитывается сегодня классика. Так, бывает, осмысляется





и современность — сплошная пустыня безрадостных будней с погашенными огнями, наглухо захлопнутыми дверьми, выкрашенная в серый цвет безнадежности. Об этом говорил мне повстречавшийся на мосту возле Лувра молодой человек, обвинявший стариков в том, что им страшно отбросить шоры идеалов и взглянуть на жизнь прямым честным взглядом, понять, наконец, что «в этом мире нельзя ничему доверять, кроме женщины, пока с ней спишь, сигарете — пока ее куришь, солнцу — пока его видишь. Все остальное ложь и романтические бредни».

Этот юноша, наверно, не знал иронического «руководства революционера» Б. Шоу, в котором есть и такая мысль: «Каждый человек, которому за сорок, — негодяй», хотя, не зная его, говорил, как мольеровский Жорж Данден, именно этим языком. Важней, однако, другое: в монологе отчаяния, обрушенном на голову случайного собеседника, отчетливо слышалась интонация и угадывались пассажи писателей, которые ставят крест на нашем времени, говорят о нем как «о двадцать пятом часе человечества — часе после последнего», видят в судьбе современника лишь короткий трагический интервал между небытием до рождения и небытием после смерти.

Наше время действительно подорвало просветительскую веру в «веселый прогресс», не оправдало таких симпатичных надежд Жюль Верна на то, что каждое новое открытие автоматически приближает людей к «золотому веку».

Теория относительности и квантовая механика расшатали представления о неизбылемости времени и трехмерном пространстве, подложили под мироздание взрывчатку ядерной физики, сумели преодолеть земное притяжение куда раньше, чем земные страдания. Родившись в тиши лабораторий, ядерные реакции, кибернетические машины и космические аппараты вторглись в жизнь миллионов, поставив перед каждым острые нравственные проблемы.

Оказалось, что высокий уровень материально-технической культуры вполне может быть совместим с едва ли не самым низким уровнем морального сознания. Вполне понятно, что этот факт, воспринятый во всей его глубине и серьезности, привел многих к историческому скептицизму, а некоторых и к еще более горькому — историческому пессимизму. Однако и это еще не было бы самым тяжелым: ведь и скептицизм, и пессимизм все-таки движение человеческого разума, не могущего равнодушно пройти мимо всего происходящего. Гораздо страшнее, что одновременно распространились цинизм, равнодушие, безразличие ко всему, кроме материаль-

ных благ, отказ от всякой думы о человечестве.

**Спор со скептицизмом**, с одной стороны, духовной инертностью, с другой, и является в настоящее время особенно необходимым. И прежде всего следует восстановить истинность простого положения: исторически прогрессивно то, что сочетается с гуманизмом и оправдывается им.

Мне кажется, что литература является одним из наиболее мощных средств для того, чтобы утвердить в человеческом сознании императивность этого положения.

Есть различные формы мышления. Одна действует в той области, которую мы называем наукой, другая — в той, которую мы называем философией, третья — в той, которую мы именуем искусством. Материал, с которым работает наша мысль, вызывает существование многих специфических отраслей как науки, так философии и искусства, но все они для общественного сознания человека представляют своеобразное целое. Это целое, отлившееся в понятия, образы, символы, воплощено в языке, как в «непосредственной действительности мысли» (К. Маркс), а через язык — возведенный в план искусства — в литературе. Именно это и делает литературу синтезом элементов философии, науки и искусства. Именно этот синтез и делается достоянием общественного сознания.

Если это так, то не является ли литература самым прямым и самым мощным средством восстановления в общественном сознании действительного представления о гуманизме как высшем критерии общественного и культурного прогресса?

Если это так, то не прав ли Жак Борель, писавший в анкете «Летр франсез» (1 декабря 1970 года): «Неужели можно поверить, что навсегда покончено с произведениями, возбуждающими любовь, столь презираемую ныне, или ненависть? Говорят, что наступило время мертвецов. Но, может быть, как и всякое другое, это время метаморфоз?».

Одна из самых характерных черт этого времени метаморфоз видится мне в том, что искусство все решительнее покидает башни из слоновой кости и комнаты с пробковыми стенами, все менее удовлетворяется словесной «сверхреальностью», которой мечтали ограничить поле его деятельности представители «новой критики». Самы они оказались, по меткому определению Малколма Каули, в положении схоластов свифтовского острова Лапута, которые, как известно, нуждались в специальной прислуге, хлопавшей их по щекам. Жизнь, реальный мир выступили и выступают в роли такого



«хлопальщика», не всегда вежливо напоминая о себе.

Андре Брентон говорил в свое время, что существует лишь «искусство конвульсии» и консервативное искусство. Сегодня, пользуясь мыслью Леви-Стросса о том, что наука о современной цивилизации из антропологии превращается в «энтропологию», можно было бы сказать, что есть еще и энтропологическое искусство. Человек для него — не часть материка, как настаивал Хемингуэй, но «отдельный островок отрицательной энтропии», писатель — «изолированная система», сама же действительность неумолимо катится к грядущему триумфу энтропии.

Жизнь может быть осмыслена и на таком уровне. Но я склонен согласиться с профессором Кембриджского университета Т. Теннером, который в своей статье, появившейся в «Лондон мэгазин», указывает на опасность безучастности и пассивности художника, с тревогой пишет о том, что «если свалить всю ответственность на необратимый естественный процесс, то логичен вывод о тщетности всякой политической деятельности».

Слова о политичности художника как способе его активного воздействия на бытие кажутся мне особенно значительными.

Не стоит забывать суровых уроков, преподанных нам историей, в частности участи тех писателей-гуманистов, которые стремились обособить людей от политики и спасти их, создав формулу чистой человечности, но оказались бесильными перед силой фашизма. И тогда самый провинительный из них — Томас Манн, выступивший в годы первой мировой войны с «Записками аполитичного», обоснованно увидел причину бедствий Германии в иллюзии немецкого бюргерства, убаюкивающего себя сказками, будто можно защитить культуру, сторонясь политики.

Статья «Культура и политика», которая написана во время второй мировой войны, открывается словами, как бы подводщими итог нравственных и творческих исканий Т. Манна. Слова эти я позволю себе напомнить: «Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, является следствием убеждений, которые дались мне нелегко и первоначально были чужды мне, выросшему и воспитанному в духовных традициях немецкого бюргерства; да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен включать его, и что в проблеме этой может обнаружиться опасность, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать не-

отторжимый от нее политический, социальный элемент». А несколько позже следует определение демократии в политическом аспекте духовного, как готовности духа к политике.

Я рискнул привести столь обширную цитату потому, что она особенно актуально звучит сегодня, когда все большее число писателей, делая свой выбор, заявляет о готовности духа к политике.

Может быть, с наибольшей решимостью это ощущение выразил один из участников анкеты в «Аксэзи поэтик» Жак Бордьё, отметивший, что литература опасно ограничена, утратила народ, изолировала от других слоев общества. Чтобы избежать этого, писателю надо стать гражданином, «представить народу его идеи и воззрения в неискаженном виде вместе с условиями, которые их порождают. И тогда вновь возникнет столь острый вопрос ангажированности, но уже на основе исторического опыта».

Можно сказать, что вся упомянутая анкета, как и множество других литературных документов последних лет, прошла под знаком раздумий о том, как соотносит творчество с идейными убеждениями. При этом существует, однако, опасность, чтобы «ангажированность» не пришла в противоречие с художественностью.

Такое, в частности, наблюдается после майских событий 1968 года во Франции, где стремление «политически делать политическое искусство» порою соседствует с отказом от художественности творчества, которая нередко в наше время объявляется целиком отравленной «буржуазной идеологией». Так, известный кинорежиссер Жан-Люк Годар призывает решительно порвать с культурной традицией, отказаться от сложившейся системы выразительных средств. Наилучшая форма политического кино — это «кинолистовка»: «чтобы объяснить, как обращаться с ружьем, можно написать стихотворение или листовку. Но все-таки эффективнее листовки». Критерий общественной пользы искусства сведен в данном случае к примитивному утилитаризму.

Такого рода концепции «идеологической природы» искусства сталкивают их сторонников с противоречиями, из которых выход пока еще не найден. В самом деле, если искусство на уровне «языка» несет в себе «идеологический фильтр», исключая возможность отражения действительности вне «буржуазных» мыслительных схем, то всякий, кто стремится к превращению литературы, кино, театра в орудие политической борьбы, должен начать... с разрушения искусства, с уничтожения уже сложившегося его языка. Это выход не предположительный. «Я остаюсь при убеждении, — писал не так давно Ален





Роб-Гриيه, — что коль скоро мы говорим о том, чтобы поставить под вопрос определенный строй... необходимо в первую очередь атаковать речь этого общества. Уважать повествовательный порядок, установленный в первой половине XIX века буржуазией, уверенной в своем праве на господство, как раз и означает принимать обоснованность ее философии и неизбежность ее ценности».

Возражая Роб-Гриيه, можно, пожалуй, вспомнить, что Бунюэль, о котором как раз и идет речь, — да и разве он один? — выражается ясно, у чего нет потребности нарочито ломать ясный язык. Ведь и Маркс, и Ленин пользовались общепотребительным языком, общим и для пролетариата, и для буржуазии, разоблачая при этом — вот что главное! — идеологию, которую выражает этот язык, но которую он не создает сам по себе.

Едва ли можно согласиться с попытками объявить форму имманентным носителем идеологических значений. Идеологической функцией обладает не форма как таковая, а произведение, рассматриваемое как определенная система, как структурное единство составляющих его элементов. А потому при анализе данного конкретного произведения вполне уместен вопрос о смыслообразующем значении тех или иных элементов формы.

Нигилизм Годара, Роб-Гриيه и других заставляет вспомнить наших пролеткультовцев, рапповцев, вульгарных социологов, которые тоже готовы были снести искусство, чтобы начать его строить на свой манер, призывали сбросить классиков с парохода современности, сжечь Рафаэля, уничтожить музей Л. Толстой в их представлении был всего лишь носителем идеологии помещичьего дворянства, Достоевский — деклассированных городских элементов, стиль Тургенева определялся созерцательностью помещичьего уклада, а гармония Пушкина — самодовольством феодала, как будто гуманистический заряд творчества этих «вечных спутников человечества» не является нашим общим современным достоянием.

Советская литература, к счастью, не вняла их призывам и лозунгам, отдала все свои силы, таланты, умение тому, чтобы создавать действительно новое и действительно революционное искусство, не сжигая за собой мосты, а наследуя и развивая все гуманистическое, все ценное у предшественников. Она пошла совершенно иным путем художественных открытий, которые сейчас уже невозможно подвергать сомнению.

И когда сегодня Годар обвиняет Эйзенштейна в «ревизионизме», объявляет «Броненосец Потемкин» устаревшим оружием, поскольку он не способен указать зрителю «расстановку по-

литических сил в том месте, где он сам участвует в борьбе», то я полагаю, что историческая правда все-таки на стороне Эйзенштейна, а не Годара, потому что искусство — не инсценировка, а образная концепция действительности, способствующая ее преобразованию по законам гуманизма и красоты.

Когда в Москве была выставка импрессионистов из французских музеев, я, подойдя к открытию, увидел громадную очередь, состоящую в основном из молодежи. Мне стало любопытно, когда же пришли самые первые, на что последовал ответ: «Мы стоим с вечера». Все эти молодые москвичи, простоявшие всю ночь при 15-градусном морозе, лишь бы посмотреть французских импрессионистов, не поняли бы лозунгов Годара. Как не поняли бы их сотни людей, терпеливо выстаивающих часами в очередях в дни предварительной продажи билетов перед кассами Большого театра и «Современника», театра на Таганке и Театра сатиры. Как не поняли бы их и покупатели, за считанные минуты разбирающие в книжных магазинах томики стихов любимых поэтов. Все они алчут искусства, хлеба духовного, как говорили у нас в старину на Руси и продолжают говорить по сей день.

Позволю себе напомнить о крайне знаменательном эпизоде, который произошел на заре строительства молодой советской культуры. Когда был опубликован горьковский очерк о В. И. Ленине, Троцкий разразился погромной статьей. Эта статья пропагандировала вражескую идеологию, неприемлемые эстетические принципы.

Спор шел о самом главном — об отношении к наследству, характере новой культуры, смысле гуманизма. И не будет натяжкой утверждать, что советская литература взяла в этом споре сторону Горького.

Метод нашего искусства получил, как известно, название социалистического реализма. Сейчас все больше писателей Запада отказывается «видеть в нем случайное явление, возникшее на чисто политической основе в узком смысле этого слова», как писал Анри Делуи на страницах редактируемого им «Аксон поэтик». И далее он развил свою мысль: «Социалистический реализм — это исторически обусловленный метод и попытка создания теории. Появление этого метода поставило во всей сложности вопросы о связи идеологии и литературы, о взаимоотношении политической власти и писателей, о влиянии, которое может оказать писатель и его произведение».

О жизненной основе, а не об административном декретировании этого метода свидетельствует также и тот факт, что проблемы социалистического реа-





16.03.63 10  
118.001033

лизма вновь стали актуальными хотя бы во Франции после мая 1968 года, что не в последнюю очередь обусловлено и тем обстоятельством, что оппортунизм, проявившийся в теории «реализма без берегов», вызвал законное желание противопоставить ему такую теорию, которая высоко оценивает идеологический аспект художественного творчества.

Говоря о социалистическом реализме как исторически обусловленном методе, нередко, однако, ограничивают его историческими рамками 1934—1956 годов, а это очередное заблуждение и еще одна иллюзия, потому что наш творческий метод постоянно развивается, обновляется, приобретает новые черты и качества, обусловленные изменением действительности и общественного сознания, но от этого не перестает быть ни социалистическим, ни реализмом.

Ф. Энгельс говорил, что с каждым открытием в области естествознания должна развиваться материалистическая диалектика. С изменением мира должно меняться и искусство. Процесс этот сложен, противоречив, порою мучителен, но социалистическое искусство идет вперед, а не топчется на одном месте. Оно вырабатывает новые и новые приемы художественного освоения действительности.

Только несколько примеров из современной литературы. Белорусский писатель В. Быков создает повести-притчи. Поэзия широко известного у нас Э. Межелайтиса вся насквозь символична. Известная книга Ч. Айтматова «Белый пароход» в своей художественной структуре использует народную мифологию киргизов. Хорошо известна субъективная ассоциативность стихов А. Вознесенского. Примеры легко умножить. Но хочется сказать также и о другом, о том, что социалистический реализм не склонен утрачивать художественные богатства, уже накопленные. Как-то один искренний зарубежный друг советской литературы говорил мне о том, что он рекомендовал опубликовать роман Пильняка у себя в стране, чтобы

доказать, что советская литература не сплошь завязла в «заскорузлом традиционализме», и тут же он выразил опасение, что бунинская проза не будет понята у него на родине, так как Бунин был «слишком традиционным». Я ответил, что Бунин, на мой взгляд, все-таки более современен, нежели Пильняк, что быть современным — не значит обязательно ломать традиционный ритм русской повествовательной прозы.

К нему, этому ритму, широко обращаются сегодня и такие писатели, как Залыгин и Абрамов, Белов и Носов, Астафьев и Распутин, достигающие в своем творчестве очень серьезных современных художественных результатов, в чем легко убедиться, обратившись к их книгам. Не последнее место здесь имеют, кстати, эстетические вкусы народа и традиции литератур, с которыми нельзя не считаться. Разве не это имел в виду Гете, говоря: чтобы понять поэта, надо побывать в его стране?

Леон Робель опубликовал в «Нувель обсервер» статью о современной советской литературе. Названа она многозначительно: «Мир, который еще предстоит открыть». Ограничиваясь лишь прозой, он перечисляет новые произведения ряда советских художников слова. К ним можно прибавить десяток последних лет, способных занять место в самом первом ряду современной литературы. Рядом с русскими работают писатели других республик. И в этом смысле хорошо известного на Западе Ч. Айтматова нельзя рассматривать как изолированное явление, потому что сейчас невозможно говорить о советской литературе, не принимая во внимание все возрастающее влияние и авторитет писателей других братских народов.

«Мир, который еще предстоит открыть» западному читателю, велик и разнообразен, в нем идут сложные процессы, но важно понять, что все это мир социалистического искусства, которое делает ставку на человека, неустанно открывает в нем, по словам К. Паустовского, творца, верит в возможность и необходимость социального преобразования действительности.





## О дружбе давней, нерасторжимой

**Г**РУЗИНО-азербайджанские и грузино-армянские литературные и культурные взаимоотношения носят самый разнообразный характер и весьма многосторонни. Истоки этой дружбы народов уходят в далекое прошлое. Однако в истории литературы эти связи представлены недостаточно и еще явно в этой области не хватает трудов монографического характера, хотя с научно-публицистической литературой по этим проблемам дело обстоит куда благополучнее. Правда, невозможно отрицать, что в трудах отдельных ученых сфера изучения дружбы народов Закавказья отображена с недостаточной полнотой.

Ряд заслуживающих внимания трудов по вопросам взаимосвязей пополнил книгу профессора Тбилисского педагогического института имени А. С. Пушкина Теймураза Джафарли «Страницы великой дружбы», которая издана в Баку издательством «Азернешр».

Книга оживляет в памяти читателя отдельные страницы зарождения и развития дружбы народов Закавказья, пришедшей ныне к величайшему завоеванию социалистического строя — братству народов нашей великой Родины.

Совместная многолетняя борьба грузин, армян и азербайджанцев, одинаковые условия жизни сблизили и связали их воедино и направили их исторические судьбы по одному пути. Именно с картин, отображающих это далекое прошлое, автор и начинает исторический обзор дружбы закавказских народов, их борьбы и труда.

Т. Джафарли показывает значение Баку как центра революционного дви-

жения всего Закавказья. Здесь была арена деятельности многих известных марксистов-ленинцев — азербайджанцев, армян, русских, грузин. Автор подчеркивает, что старый Тбилиси представлял собой культурный центр Закавказья: здесь жили в мире и дружбе, активно работали представители разных народов и наций, в частности замечательные большевики Нариман Нариманов, Спандарян, легендарный Камо и другие.

В монографии охарактеризованы важнейшие этапы победы Октябрьской революции и установления Советской власти в Закавказье. Победа Советской власти подняла на новую ступень дружбу народов всей нашей многонациональной Родины. Трудящиеся Армении, Грузии и Азербайджана протянули друг другу руку братства и дружбы, способствуя расцвету экономики и культуры этих республик. Победа над врагом в Великой Отечественной войне явилась подтверждением братства и дружбы между народами нашей страны.

Автор ознакомился с огромным фактическим материалом, проанализировал его. Он сравнил в процентном отношении успехи Закавказских республик за период после установления Советской власти с дореволюционными показателями и пришел к выводу, что пятидесятилетний путь развития этих республик смело можно сравнить со столетним — дореволюционным.

В труде широко охарактеризованы подлинная ценность дружбы народов Закавказья и всей нашей социалистической Родины, братская взаимопо-



мощь, бескорыстные взаимоотношения строителей, содружество ученых. Автор отмечает, что еще большему сближению армянского, азербайджанского и грузинского народов способствуют частые встречи писателей и работников искусств, выездные сессии, традиционные фестивали, декады поэзии. Вместе с тем он рассматривает и анализирует труды исследователей Института востоковедения Академии наук Грузинской ССР, Тбилисского государственного университета, работающих в области литературных взаимоотношений.

Дружба народов Закавказья нашла свое выражение в творчестве поэтов, писателей, композиторов, художников этих народов.

Большое место в книге отведено азербайджано-армяно-грузинским театральным связям с момента их зарождения и поныне.

Достоинством монографии является то, что в ней органически сочетаются прошлое и настоящее Закавказья. Каждое событие рассматривается в историческом аспекте и в тесной связи с современностью. Книга Т. Джафарли «Страницы великой дружбы» читается с интересом. Однако хочется сделать отдельные замечания, которые, на наш

взгляд, было бы целесообразным принять во внимание при последующих изданиях. Например, глава «Когда говорят и цифры» как бы выпадает из общей направленности книги. Она перегружена статистическими данными, нарушающими плавность повествования. В каждой из глав автором представлено столько убедительных и значительных фактов, что обращение к цифрам для подтверждения какого-либо вывода представляется уже излишним и лишь снижает впечатление, оставляемое несомненными художественными достоинствами очерка.

Большая работа в области литературных взаимоотношений между народами Закавказья, как и между братскими народами всех союзных республик, ведется отделом литературных связей народов СССР Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели, но она, к сожалению, не отмечена в книге. Эти частные замечания не снижают достоинств и значения ценной работы Теймураза Джафарли. Надеемся, что ею заинтересуются издательства нашей республики, которые и сделают книгу «Страницы великой дружбы» доступной грузинскому читателю.

Лейла ЭРАДЗЕ





# Братство литератур, творческое единение



**Д**НИ СОВЕТСКОЙ литературы в Грузии, проходившие здесь с 17 по 24 июня, — это не только праздник, но и работа. И даже, пожалуй, прежде всего работа. Так они были задуманы, и это получило отражение в обширной, разнообразной, насыщенной программе нынешней декады, маршруты которой на этот раз, продолжая давно сложившуюся традицию проведения Дней советской литературы в братских республиках, пролегли по Грузии.

По инициативе Союзов писателей СССР и нашей республики к нам приехала делегация представителей литератур всей нашей многонациональной Отчизны и социалистических стран, возглавляемая большим другом грузинских литераторов, секретарем Союза писателей СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии К. М. Симоновым.

Накануне открытия Дней советской литературы в нашей республике Константин Михайлович сказал: «Мои товарищи и я едем в Грузию, полные глубокого уважения ко всему тому хорошему и плодотворному, что делается сейчас в республике, полные глубокого интереса к тем встречам, которые нам предстоят».

А предстояло нашим гостям встретиться не только со своими коллегами — грузинскими писателями, но и с тружениками нашей республики, чьими усилиями в преддверии XXV съезда КПСС реализуются задания завершающего года девятой пятилетки. И не только встретиться, но и воочию увидеть их в деле, в напряженном, созидательном труде. Труженикам же пера предстояло не только отчитаться перед своими читателями, но и почерпнуть новые темы, новый материал для своих будущих произведений, посвященных нашим героическим будням, нашему современнику. Не случайно поэтому эпицентром праздника братства литератур, демонстрации крепнущих связей их с жизнью народа стал именно Кутаиси — город больших культурных и трудовых традиций, откуда, разделившись на пять групп, гости разъехались по чаеводческим районам Западной Грузии. Во главе с секретарями Союза писателей республики они побывали у чаеводов Батуми, Зугдиди, Цхакая, Цхалтубо, Махарадзе. Они пришли к кутаисским автомобилестроителям, к учащимся 1-й школы города. Они снова собрались под «багдадскими небесами», чтобы на родине великого советского поэта принять участие в «Маяковских чтениях».

Обогащенные впечатлениями от общения со страной не только поэтов, но тружеников, достойных быть ими воспетыми, участники Дней советской литературы в Грузии принесли свои песни во славу братства литератур, дружбы народов, вдохновенного творчества, поставленного на службу народу, строящему коммунизм, на интернациональный вечер поэзии в столице нашей республики Тбилиси. Здесь 24 июня и завершились эти дни единения, как точно сказал Леонид Ильич Брежнев, «творческой интеллигенции с жизнью народа, с рабочим классом и тружениками села».





# Алеко Шенгелиа



Грузинская литература понесла тяжелую утрату: скончался известный поэт и общественный деятель Алеко Шенгелиа, в творчестве которого нашли яркое отображение героизм и духовные стремления советского человека. Именно поэтому первый советский космонавт Юрий Гагарин называл его в числе своих любимых поэтов.

Алеко Шенгелиа родился 20 ноября 1914 года в селе Хабуме Чхороцкского района. Первое стихотворение напечатал в 1938 году. Много лет он работал в редакциях и издательствах Грузии. Был директором Грузинского отделения Всесоюзного управления по охране авторских прав, избирался членом правления и президиума СП Грузии.

Ему принадлежит ряд сборников стихов и поэм, в числе которых — «Рассвет», «Родники в горах», «Время петь», «Современник», «Люблю», «Песня весны» и другие. Стихи А. Шенгелиа переведены на русский и другие языки народов нашей страны.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Алеко Шенгелиа: он был награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями.

Грузинские писатели и многочисленные читатели с глубокой скорбью проводили поэта в последний путь.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР  
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Редколлегия и сотрудники журнала «Литературная Грузия» глубоко скорбят о кончине члена редколлегии поэта Алеко Шенгелиа.

## О ПРОЗЕ ПОЭТА

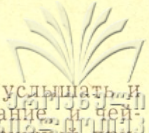
### Памяти Алеко Шенгелиа

**С**УЩЕСТВУЕТ мнение, что стихами следует писать только о том, что невозможно, никак невозможно, выразить прозой. На первый взгляд это — несомненная истина и ее нелегко опровергнуть даже тем, кто, как и я, непоколебимо верует в безграничные возможности художественной прозы. Нелегко — поскольку печатные станки ежедневно выдают «на-гора» сотни, тысячи, десятки тысяч хорошо, а нередко очень хорошо, более того — изощренно зарифмованных строк, значительная доля которых, увы, никакого отношения к поэзии не

имеет. И к художественной прозе тоже. Так что же это? Зарифмованная информация? И да и нет. Потому что весьма и весьма уважаемой мною информации присущ и свой стиль, и свои собственные способы, и формы выражения. А эта информация, вырядившаяся в чужие одежды, эта замаскированная рифмами информация перестает быть таковой — от нее уже никакой пользы людям. Ничего от нее людям, кроме беспросветной, зеленой скуки. Справедливости ради надо сказать, что есть немало и прозаических произведений такого же рода. И от них тоже ничего, кроме скуки, не происходит.

Следовательно, дело обстоит не совсем так: «это вот только стихами, а это только прозой...». А потому, вовсе не претендуя на какое-то открытие, — а что тут открывать, все это давно известно, — я лишь позволю себе напом-





нить, что настоящая поэзия, в каждом отдельном случае, сама знает — и это я уж действительно утверждаю, — что сама она знает, как, в каком жанре, в какой форме себя выразить. И когда читаешь такое настоящее поэтическое произведение — независимо от того, стихи это или художественная проза, — ничуть уже не сомневаешься, что все тут сказанное, выраженное, нарисованное художником слова только так и может быть сказано, выражено, нарисовано. Только так! И никак иначе...

Примеров, подпирających такую точку зрения, можно привести сколько угодно — к великому нашему счастью их немало, — но я сейчас приведу только лишь один. Один, но весьма, по моему мнению, доказательный. Пример этот — рассказ поэта Алеко Шенгелиа «Слышу, иду!» (не желая лукавить, честно признаю, что он, и только он, побудил меня вести сейчас разговор о поэзии и прозе или, еще вернее, о поэзии в прозе). Я не утверждаю, понятно, что все, что содержится в этом рассказе, Алеко Шенгелиа не мог выразить стихами — в балладе, в поэме. Мог бы наверное. Он поэт, он мастер, и кто-то, а уж он чеканить строки умеет. И все-таки возник под пером поэта Шенгелиа рассказ. И даже не возник — это явно не то слово — родился. Вот именно родился. И ничто иное родиться в данном случае не могло. Только рассказ. Потому что только в рассказе поэзия Алеко Шенгелиа нашла на этот раз возможность себя выразить. А рассказ этот — настоящая поэзия. От заголовка до последней строки — поэзия! Это, если хотите, рассказ поэта о поэте: герой этого поэтического произведения мальчуган по имени Гога — истинный поэт, хотя он вовсе не витает в облаках, а живет на многострадальной суровой земле, в суровое военное время.

Настоящее поэтическое произведение нет надобности объяснять, пояснять и грех его пересказывать. И я такой грех себе на душу не возьму. А просто пожелаю всем, кто любит поэзию, прочитайте рассказ «Слышу, иду!». Да, прочитайте его, друзья, и вы сами убедитесь, что поэзия этой прозы берет свое начало из того во веки неиссякаемого источника, из которого люди утоляют свою жажду прекрасного. Она бесконечно добра, эта поэзия — прекрасное не может быть злым — она воспеваеt неизбежную победу добра над злом, она воспеваеt всегда способное к сочувствию и состраданию человеческое сердце, гото-

вое уловить, почувствовать, услышать и чью-то боль, и чье-то страдание, и чей-то, может быть, даже беззвучный призыв о помощи и тут же отозваться: «Слышу, иду!», и тут же броситься на выручку. Она очень земная, эта поэзия Алеко Шенгелиа — я имею в виду рассказ «Слышу, иду!» — и вместе с тем она необыкновенно высока, она необыкновенно возвышенна, она как бы соединяет, спаивает воедино и землю, и небо нашего бытия.

Вот это, не вдаваясь в подробности — подробности и детали дело литературных критиков, — я и хотел сказать о поэтической прозе поэта Алеко Шенгелиа. И само собой разумеется, я вовсе не собираюсь объяснять сейчас, почему поэт Шенгелиа написал на тему «Слышу, иду!» рассказ, а не поэму. Может, это и сам поэт не смог бы объяснить. Очень может быть, что не сумеет. Да и так ли это важно! Важно, что рассказ его и настоящая проза, и настоящая поэзия одновременно. Прекрасная проза и прекрасная поэзия. Да, прекрасная — говорю я с открытым и нескрываемым пристрастием, на которое имею право, как и всякий читатель, да еще, если так можно сказать, с некоторой добавкой, поскольку этот рассказ я перевел на русский язык. А пристрастие переводчика (если только перевод не ремесленная стряпня, а художественное творчество) — всегда чистое, честное пристрастие. Помните, как сказал бы об этом Маршак... Впрочем, и тут пересказ неуместен, потому что перед нами стихи поэта Якова Козловского:

**Маршак сказал однажды так,  
Как мог сказать один Маршак:  
— Я переводчик на Руси  
И словом дорожу,  
Но я в отличие от такси  
Не всех перевозю.**

Переводить серую, лишённую поэзии прозу, — неважно, кто ее автор, стихотворец или прозаик, — грустное, скучное и, главное, никому не нужное занятие. Зато сколько творческой радости и творческого счастья доставляет нелегкий, ох, какой нелегкий труд над переводом произведения по-настоящему поэтического! Такую радость подарил мне мой друг, мой любимый поэт Алеко Шенгелиа своим рассказом «Слышу, иду!». Спасибо ему за это.

**ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН**





Сдано в производство 14 мая 1975 г. Подписано к печати 23 июня 1975 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ 2041

Тираж 4 000

УД 11415



33-1975

75-475  
საქართველოს  
ბიბლიოთეკა

Цена 40 коп.

ИНДЕКС  
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ  
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა